



ЮКИО МИСИМА

ДОМ КЁКО

Скрупулезностью
психологического анализа
Мисима подобен Стендалю,
а глубиной исследования
людовой тяги к саморазрушению —
Достоевскому.

THE CHRISTIAN
SCIENCE MONITOR

Впервые
на русском!

18+

Большой роман

Юкио Мисима

Дом Кёко

«Азбука-Аттикус»

1959

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44

Мисима Ю.

Дом Кёко / Ю. Мисима — «Азбука-Аттикус», 1959 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-23221-1

Юкио Мисима (1925–1970) – звезда литературы XX века, самый читаемый в мире японский автор, обладатель блистательного таланта, прославившийся как своими работами широчайшего диапазона и разнообразия жанров (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и ошеломительной биографией (одержимость бодибилдингом, крайне правые политические склонности, харакири после неудачной попытки монархического переворота). «Дом Кёко» – история четырех молодых людей, завсегдатаев салона (или прихожан храма), в котором царит хозяйка (или жрица) Кёко. Эти четверо – четыре грани самого автора: тонко чувствующий невинный художник; энергичный боксер, помешанный на спорте; не востребовавшийся актер-нарцисс, замороженный своей красотой; и бизнесмен, который, притворяясь карьеристом, исповедует нигилизм, презирает реальность и верит в неотвратимый конец света. А с ними Кёко – их зеркало, их проводница в странствии сквозь ад современности, хозяйка дома, где все они находят приют и могут открыть душу. На дворе первая половина 1950-х – послевоенный период в Японии закончился, процветание уже пускает корни и постепенно прорастает из разрухи, но все пятеро не доверяют современности и, глядя с балкона Кёко, видят лишь руины. Новая эпоха – стена, тупик, «гигантский пробел, бесформенный и бесцветный, точно отражение летнего неба в зеркале», как писали критики; спустя полтора десятилетия та же интонация зазвучит у Хьюберта Селби-младшего. Четверо гостей и Кёко ненадолго обретут успех, но за успехом неизбежны падение, разочарование, смерть. Однажды двери дома Кёко закроются. Конец света неотвратим. Мы все по-прежнему живем в его преддверье. Перевода этого романа на английский поклонники с нетерпением ждут по сей день, а мы впервые публикуем его на русском.

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44

ISBN 978-5-389-23221-1

© Мисима Ю., 1959
© Азбука-Аттикус, 1959

Содержание

Часть первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Юкио Мисима

Дом Кёко

Yukio Mishima

KYŌKO NO IE

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1959

All rights reserved

© Е. В. Стругова, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Скрупулезностью психологического анализа Мисима подобен Стендалю, а глубиной исследования людской тяги к саморазрушению – Достоевскому.

The Christian Science Monitor

«Дом Кёко» – роман, полный недоверия к современности.

Саори Накамото, литературный критик

«Дом Кёко» – мое исследование нигилизма. В «Золотом храме» я изображал «индивидов», а здесь герой – не личность, но эпоха.

Юкио Мисима

Часть первая

Глава первая

Все безудержно зевали.

– Ну, куда направимся? – спросил Сюнкити. – В середине дня и пойти, наверное, некуда.

– Мы выйдем у парикмахерской, – решили Хироко и Тамико. Они-то были в настроении.

Ни Сюнкити, ни Осаму не возражали против того, чтобы высадить женщин. В машине оставалась одна Кёко. По этому поводу не возражали Хироко и Тамико. Сюнкити и Осаму, каждый по-своему, попрощались коротким кивком. Дамы надеялись, что «ничейный» Нацуо попрощается с ними теплее. И он полностью оправдал их ожидания.

Тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год, начало апреля, где-то около трех часов дня. Автомобиль Нацуо с Сюнкити за рулем кружил по улицам с односторонним движением.

– Куда поедем?

– Ну, туда, где поменьше народу. На озере Асиноко пробыли два дня, там просто толпы людей. И на Гиндзе¹, куда потом вернулись, естественно, тоже.

– Я как-то ездил рисовать в осушенные поля за Цукисимой, может, туда? – предложил Нацуо.

Все согласились, и Сюнкити развернул машину в нужную сторону.

В окрестностях Катидокибаси – пробка, это стало ясно уже издалека.

– Что там случилось? Может, авария? – предположил Осаму. Но по обстановке было понятно, что мост закрывают для подъема.

Сюнкити досадливо цокнул языком. «Тьфу, туда не получится. Обидно». Однако Нацуо и Кёко никогда не видели, как разводят мосты, и захотели посмотреть. Машину поставили поближе, перешли на другую сторону по металлическому мостику и отправились к месту действия. Сюнкити и Осаму всем видом выражали скуку.

Середина моста представляла собой металлическую плиту – эта часть и была закрыта для проезда. По краям стояли служащие с красными флажками, скапливались машины. Пешеходную зону преграждала цепь. Желающих поглазеть хватало, но в толпе попадались и курьеры, которые рады были побездельничать, пока по мосту не пройти.

Пустая черная плита с проложенными по ней рельсами была неподвижна. С двух сторон за ней наблюдали люди.

Тем временем в центре появилось вздутие, постепенно поднялось, приоткрылась щель. Затем устремилась вверх вся громада: металлические ограждения по бокам моста, переброшенные между ними арки, столбы вместе с тусклыми фонарями. Нацуо это движение показалось прекрасным.

Когда плита устремилась к вертикали, из углублений в рельсах вылетело облако пыли. Крошечные тени от бесчисленных болтов, постепенно сжимаясь, осели на креплениях, заматались изломанные тени от арок. А когда плита окончательно встала, тени снова застыли. Нацуо, подняв глаза, увидел, как над столбом лежащей арки скользнула чайка.

Так их дорогу неожиданно перекрыл большой железный забор.

¹ Гиндза – один из центральных кварталов и ведущий фешенебельный торговый район Токио. – *Здесь и далее примеч. перев.*

* * *

Им показалось, что ждали они довольно долго. Когда мост снова заработал, интерес к поездке на осушенные земли уже поостыл. Осталось лишь ощущение некой обязанности: когда по мосту возобновится движение, нужно трогаться. Во всяком случае, всем было муторно от недосыпа, усталости после долгой поездки, теплой погоды, потому и голова отказывалась думать, менять планы. Раз уж дорога ведет к морю, стоит доехать до места. Все без лишних слов, позевывая, вяло вернулись в машину.

Машина проехала по мосту Катидокибаси, пересекла городок Цукисиму и снова мост – Рэймэйбаси. Вокруг, насколько хватало глаз, зеленели ровные заброшенные земли, расчерченные сетью стационарных дорог. Морской ветер ударил в лицо. Сюнкити остановил машину у таблички с надписью «Вход запрещен», отмечавшей взлетно-посадочную полосу на краю американской военной базы.

Нацуо вышел из машины и, наслаждаясь видом, спрашивал себя: что мне нравится больше – классические руины или осушенные земли? Тихий и сдержанный, он редко высказывался. Мнения об искусстве копились у него внутри, не мучили, и Нацуо нравилось, что в их компании не ведут таких разговоров.

Однако глаза его впитывали без усталости. Белый суперлайнер по ту сторону рукотворных пустошей, угольщик с верфей Тоёсу, пускающий из трубы облака белого дыма угольщик – такие вещи поистине упорядоченны и прекрасны. Прекрасна весенняя равнина, которую целиком заполняют геометрически правильные площади осушенных земель.

Сюнкити вдруг припустил бегом. Просто так, неизвестно куда. Его фигура постепенно пропадала из виду на краю равнины.

– Тренировки завтра начинаются, а ему не терпится. Завидую тем, кто любым способом заставляет тело двигаться, – сказал Осаму – актер, пока не получивший настоящей роли.

– А он ведь и в Хаконэ² каждое утро бегал. Вот рвение-то, – сказала Кёко.

Сюнкити остановился, трое приятелей отсюда казались крошечными. Он чувствовал, что одного бега недостаточно, поэтому и в дождь не забывал по двадцать минут прыгать через скакалку в спортивном зале общежития.

В группе, собравшейся вокруг Кёко, он был самым младшим. Капитан боксерской команды, в будущем году окончит университет. Его товарищи уже отучились. И Осаму. И Нацуо.

Сюнкити, не придававшего особого значения манерам, впервые привел в дом Кёко старший товарищ, фанат бокса Сугимото Сэйитиро, и он как-то естественно влился в компанию. Своей машины у Сюнкити не было, но водил он превосходно, поэтому его очень ценили. Из-за увлечения боксерами люди самого разного возраста, профессии, положения интересовались им и оказывали знаки внимания.

Несмотря на молодость, он уже завел определенные убеждения. Например, совсем не думать. Во всяком случае, приучал себя к этому.

Что он делал вечером с Тамико – об этом Сюнкити уже забыл, когда сегодня утром один бежал по дороге вокруг озера Асиноко. Важно стать человеком без воспоминаний.

Прошлое... Он оставлял в памяти лишь нужную часть, лишь немеркнущие привязанности. Только те воспоминания, которые воодушевляют, поддерживают в настоящем. Например, о первой тренировке: поступив в университет, он тогда впервые пришел в боксерский клуб. Или о первом спарринге с партнером из старших товарищей.

² Хаконэ – самый популярный курорт Японии, примерно в 100 км от Токио. Славится горами, природными красотами, термальными источниками.

Какой же длинный путь он прошел от воинственного пыла, охватившего его в том первом тренировочном бою, до сегодняшнего дня. Это случилось вскоре после того, как он поселился в общежитии. Сколько раз с тех пор вымыты руки, а он до сих пор остро, во всех подробностях ощущал бинты на них. Прикосновение грубого хлопкового полотна, которым традиционно заматывали запястья и кисти, прикрывали сверху костяшки. Он всегда любил свои далеко не изящные руки. Словно деревянный молот, бойцовские, крепкие, не подвластные чувствам и нервам. Линии на ладонях простые, и ни одной, способной порадовать хироманта: темно-коричневую кожу прорезали глубокие прямые бороздки, предназначенные, чтобы руки сжимались или разжимались.

Сюнкити с удовольствием вспоминал. Два однокурсника надели на его протянутые руки тяжелые большие бесформенные перчатки для спарринга. Перчатки были старыми, потрескавшимися. Эти лиловые трещины избороздили всю поверхность, кожа осыпалась, поэтому они выглядели скорее как скелет перчаток. Однако внутри эти неприглядные огромные перчатки мягко и тепло касались пальцев. Завязки плотно обвилились вокруг запястий.

– Не туго?

– На правой немного.

Подобного диалога он с нетерпением ждал целый месяц. Сюнкити напоминал быка, которого выращивают для боя: сколько удовольствия было в том, как ассистенты помогали ему, спрашивали, хорошо ли завязаны перчатки. Он всегда завидовал моменту в боксе, когда в перерыве между раундами бойцу дают прополоскать рот водой, налитой в бутылку из-под пива.

В любом случае это ведь для борьбы! О мужчине, который борется, необходимо заботиться.

Затем помощник надел на него шлем – его Сюнкити тоже примерял впервые в жизни. Он хорошо запомнил ощущение старой кожи, которой его короновали. Кожа на миг придавила горящие от волнения мочки ушей, а потом они выбрались наружу из специально вырезанных отверстий.

Рукой в перчатке он первым делом ткнул себя в подбородок, ударил по переносице, лбу. Сначала легко, потом решительнее. Горячий тяжелый мрак залил лицо.

– Вот все так делают на первом спарринге, – сказал сбоку его партнер.

Вспомнив это, Сюнкити покраснел. Насколько жалко все выглядело после того, как они поднялись на ринг и прозвучал возвестивший начало гонг! Намного ужаснее драк, в которых он до сих пор участвовал. Его удары не доставали соперника. А тот под разными углами метил в лицо, живот, печень, и его кулаки безжалостно достигали цели, словно он был тысячерукой богиней Каннон³. Во втором раунде, когда прямой удар левой от усталости показался Сюнкити ватным и бессильным, он, наоборот, заслужил похвалу: «Вот сейчас левая – нормально». Он уловил тяжелое дыхание партнера, произнесшего «левая – нормально». Мстительная радость в тот миг, когда обнаружилась эта крошечная слабость. Вызванный этим прилив сил...

Сюнкити увидел перед собой по-весеннему мутное, серовато-голубое море. Вдалеке держал путь в порт типичный грузовой корабль водоизмещением в пять тысяч тонн. Тучи чуть затянули водный горизонт, но еще не сгустились. День стоял ясный, и белизна чаек просто слепила.

Сюнкити показал морю кулак. На лице появилось лукавое выражение. В желании стать боксером поначалу было лишь свойственное ему озорство.

То не была борьба с тенью, с невидимым партнером. Его соперником оказалось безбрежное, мглистое весеннее море. Зыбь, лизавшая причал, цепочкой тянулась до барашков волн.

³ Каннон – одно из самых почитаемых буддийских божеств в Японии, в образе богини – милосердная заступница. Одно из распространенных обликов – Тысячерукая Каннон; эти руки символизируют безмерные возможности богини для спасения всех живых существ.

Враг, с которым не сразиться. Противник, сделавший своим оружием пугающее спокойствие, с которым поглощает тебя. Враг, который всегда чуть усмехается.

Троица, ожидавшая возвращения Сюнкити, уселась на каменные строительные блоки, все закурили. Осаму больше других походил на образцового отдыхающего: вид полностью отсутствующий.

Кёко и Нацуо давно заметили за ним эту особенность. После длительного молчания вокруг него возносилась невидимая крепость, возникал только его, недоступный другим мир. Поэтому порой его считали скучным, или, иначе говоря, фантазером. Однако фантазии тут не было ни капли. Осаму – не мечтатель и не реалист – олицетворял самого себя здесь и сейчас. Кёко уже привыкла и не спрашивала: «О чем ты думаешь?»

При этом он вовсе не был одиночкой. Редко, наверное, встречаются мужчины, которые не выглядят одиночками, даже пребывая в одиночестве. Этот юноша, словно пережевывая жвачку, постоянно говорил о приятных волнениях, которые создавал себе сам. Например: «Я сейчас здесь. Существу. Но я и на самом деле существу?»

Для молодого человека подобное беспокойство не редкость, но у Осаму оно было особенным – доставляло удовольствие. И это удовольствие, скорей всего – нет, даже определенно, – проистекало из привлекательности самого Осаму.

Сюнкити бежал обратно. Его фигура на равнине становилась все крупнее. В косых лучах солнца четко обозначилась тень, которую отбрасывали правильно сгибаемые колени. Скоро он, мокрый от пота, покрасневшийся, остановился рядом с сидящей компанией, дыхание ничуть не сбилось.

– Чем пахнет море? – спросила Кёко.

– Мочой, – сухо ответил Сюнкити.

Нацуо смотрел вдаль: ватерлиния делила трюм грузового корабля на черную верхнюю и ярко-красную нижнюю части, он размышлял о правильности и мощи этой линии. Да не только об этом. Бескрайний пейзаж пересекало и охватывало множество геометрических линий. А в струившемся от жары воздухе часть их, преломляясь, напоминала гибкие водоросли.

В памяти Осаму всплыл вечер дебютного спектакля, в котором участвовали стажеры. Он, в костюме гостиничного посыльного, по роли уже находился на сцене, поэтому тень от поднимавшегося занавеса постепенно ползла от ног вверх по телу. Его охватил трепет, когда его фигура медленно появлялась перед освещенными зрителями...

Кёко нравилось отпускать своих парней, поэтому она даже любила, когда они витали в облаках. К ней снова подкрадывалась усталость, возникшая после путешествия. Беспокоило ее лишь одно – как бы усиливающийся морской ветер не спутал волосы. Когда, прижимая волосы руками, она обернулась к машине, то увидела, что там собралось несколько мужчин. Посмотрев на нее, они рассмеялись.

На них были перепачканные землей рабочие куртки, обмотки и грубая обувь. Типичные землекопы с ближайшей стройки. У некоторых лоб охватывала повязка из полотенца, чтобы пот не заливал глаза. Пока они говорили негромко и смеялись над Кёко, ветер донес явный запах спиртного. Один поднял булыжник. Бросил его на крышу машины. Раздался неприятный скрежет, рабочие снова засмеялись.

Сюнкити поднялся. Кёко тоже встала, собираясь его остановить.

Осаму медленно пробудился, но скорее не от грез, а от своей туманной реальности. Решение было отвергнуто прежде, чем он проявил находчивость. Ему еще не приходилось встречать в ссоры. Во всяком случае, непросто было поверить в то, что прямо сейчас разворачивалось перед его глазами.

Нацуо знал, что слаб, но без нарочитости прикрыл собой Кёко. Машину, которую ему меньше месяца назад купил отец, он водил еще плохо, просил Сюнкити быть за рулем. Он

вдруг представил ее с безобразно поцарапанным лаком, разбитую. Однако Нацуо, с детства равнодушный к собственности, с какой-то мечтательностью во взоре наблюдал, как на его глазах собираются ломать его машину.

Сюнкити уже стоял спиной к машине, его окружили четверо.

– Что вы делаете! – крикнул он.

«А он заступается. Почему? Ведь машина – всего лишь собственность приятеля», – недовольно подумал Осаму. Он неправильно истолковал поведение Сюнкити, счел его борцом за справедливость.

Озлобленные чернорабочие что-то говорили, но без брани как таковой. Сюнкити прислушался. Они отпускали непристойности в адрес Кёко, смысл сводился к тому, что сопляки разъезжают на машине, делать им нечего – середь бела дня в таком месте развлекаться с женщиной. Когда старший из рабочих, который и бросил камень, приняв Сюнкити за владельца машины, обозвал его «буржуазенком», в нем от такой нелепости разыграла сила. Для боя достаточно, чтобы тебя неправильно поняли.

Другой рабочий ударил камнем в стекло. Оно не разлетелось, но по нему, словно паутина, побежали заметные трещины. Сюнкити перехватил руку рабочего за запястье, не позволив ему повторить и разнести стекло вдребезги. Еще один рабочий хотел заехать грубым ботинком Сюнкити по ноге, но не сумел. Сюнкити развернулся и нанес удар ему в голову. Рабочий ничком рухнул в траву.

Кёко закричала, увидев, что старший изготавился бросить камень Сюнкити в спину. Сюнкити уклонился, как при ударе в голову, и, когда противник подался вперед, схватил его за воротник куртки, откинул назад и наградил апперкотом в подбородок.

Крик Кёко привлек внимание двух оставшихся рабочих. Они увидели женщину, которую прикрывал хлипкий юноша, и молодого человека позади них – рассеянного и одетого с иголочки. Один схватил Кёко за рукав костюма, испачкав его грязью. Сюнкити, подскочив сбоку, проворно дернул Кёко за руку, и рабочий ударил его в грудь. Сюнкити отлетел на пару шагов, но устоял на ногах.

В глаза бросились белая рубашка соперника и пряжка ремня с облезлой позолотой. На животе рубашка встопорщилась, и вылезла латунная пряжка. Безвкусная вещица с гравировкой в виде серебристого цветка пиона. Сюнкити отметил про себя, что об эту штуку можно легко поранить пальцы. Не стоит калечить свои драгоценные руки.

Соперник разъярился. Для Сюнкити возникшее решение уже означало победу. Он беспрепятственно нанес несколько ударов по животу в белой рубашке – с удовольствием ощутил руками плоть, наслаждался тем, что есть куда бить. Эта человеческая плоть была идеальной мишенью, совершенством. От ударов рабочий упал на колени.

Еще один сбежал.

Тем временем Нацуо проскользнул на водительское сиденье и завел мотор. Кёко с Осаму и Сюнкити забрались внутрь, машина тронулась, они быстро пересекли мост Рэймэйбаси и влились в плотный поток, тянувшийся по кварталам Цукисимы. Нацуо сам поражался тому, как хорошо вел.

* * *

Какое-то время Сюнкити боролся с неприятным осадком, оставшимся после драки; ему казалось, будто тело все еще напряжено. Но вскоре принцип – не размышлять – заглушил эти ощущения.

Сюнкити запретил себе выпивать и курить. Драки и женщины обрушиваются на человека со стороны, с этим ничего не поделаешь. Однако стойком был не только Сюнкити. В доме Кёко собирались мужчины разных профессий и характеров, но в каждом было что-то от стойка. И у

Осаму. И у Нацуо. Даже у Сугимото Сэйитиро – у него это проявлялось по-особому. Излишне стыдясь страданий и заблуждений юности, они приучили себя не говорить о таком и стали стойками высшей пробы. Они жили, стиснув зубы. С довольными лицами. Они должны были показать, что не верят, будто в их мире существуют несчастье и страдание. Обязаны были притворяться незнающими.

Машина ехала к дому Кёко в восточном квартале Синаномати⁴.

Почему-то бывают дома, где обычно собираются мужчины. Открытый двор наводил на мысли о публичном доме. Здесь можно было шутить о чем угодно, нести любой вздор. И к тому же выпить даром. Ведь каждый приносил и оставлял здесь спиртное. Можно было смотреть телевизор, можно – играть в маджонг, приходиться и уходить когда вздумается. Вещи в доме были общими: если кто-то приезжал на машине, ею свободно могли пользоваться все.

Явись отец Кёко привидением в этот дом, посетители привели бы его в ужас. Сама Кёко, не признающая сословных рамок, судила о людях по их привлекательности и принимала у себя дома гостей независимо от их социального статуса. Никто не мог сравниться с ней в преданности делу разрушения традиций. Она не читала нужных газет и тем не менее превратила свой дом в кладезь современных течений. Сколько она ни ждала, предубеждения не коснулись ее души, и она, полагая это своего рода болезнью, смирилась.

Подобно тому как люди, выросшие на чистом деревенском воздухе, подвержены инфекциям, Кёко заразилась идеями, которые вошли в моду после войны. И хотя кто-то от них излечивался, она не вылечилась. Она навсегда решила для себя, что анархия – нормальное состояние. Она смеялась, когда слышала, что ее ругают за аморальность, считая, что эта клевета стара как мир, но не заметила, что и в этом стала ультрасовременной.

Худощавая Кёко унаследовала от отца красоту, в которой проглядывали китайские черты. Слишком тонкие губы иногда портили лицо, но ощущение, что они внутри полные и теплые, контрастировало с их внешней холодностью и смягчало ее. Ей очень шла европейская одежда для зрелых женщин, а летом были к лицу яркие платья без рукавов и с открытыми плечами. Она никогда не носила корсет, только пользовалась обволакивающими ее духами.

Кёко признавала неограниченную свободу других. Обожала отсутствие порядка и стала бóльшим стойком, чем остальные. Подобно врачу, который боится своих способностей к диагнозу и старается не пользоваться ими, она слишком хорошо знала о своей привлекательности, но не испытывала желания опробовать ее результаты. Кёко любила щегольнуть ею, но на том и останавливалась. Тихо радовалась, когда ее осуждали за распушенность, что было несущественно, и получала огромное удовольствие, когда люди принимали ее за официантку или девушку из дансинга, склонную к неприличному поведению.

Неверные суждения о ней составляли предмет гордости Кёко. Целый день она говорила исключительно о внешних событиях, а внутренний мир считала чем-то незначительным, не заслуживающим внимания. Неиссякаемым источником счастья для Кёко были случаи, когда молодые люди, влюблявшиеся в нее, примирялись с ее холодностью и находили утешение с женщиной попроще.

Она не любила птиц, не любила собак и кошек – вместо этого питала неутолимый интерес к людям. У нее, своенравной единственной дочери, жившей с семьей в родительском доме, был муж, страстный любитель собак. Собаки отчасти стали причиной их супружества и в конечном счете – причиной расставания. Кёко, оставив у себя дочь Масако, выставила мужа, а вместе с ним семь собак – немецких овчарок и догов – и постепенно избавилась от пропитавшего дом запаха псины. Он был для нее как вонь от презираемого всеми грязного мужчины.

У Кёко были странные убеждения. Она избегала встреч с супружескими и любовными парами. Мужчины обычно заглядывались на Кёко. И она до боли чувствовала, что мужчина

⁴ Синаномати – один из округов района Синдзюку в Токио.

изо всех сил сдерживается, желая ее больше жены или любовницы. Ее в мужчинах привлекали именно эти страдальческие взоры. У мужа такого взгляда не было. Вдобавок его склонности были сродни ее собственным: он просто наслаждался взглядами, полными подавленной страсти, потому, наверное, и обожал эту кучу собак. О-о! Стоит только подумать об этом, сразу бросает в дрожь. Только вообразить...

Дом Кёко прилепился к склону холма, и сразу за воротами открывался обширный двор. На станции Синаномати внизу сновали электрички, небо вдали, повторяясь, перечеркивали две роши: одна вокруг храма Мэйдзи, вторая – напротив него, у дворца Омия, резиденции вдовствующей императрицы. Наступил сезон цветения, но сакуры в этом пейзаже почти не было: лишь среди темной зелени роши вокруг усыпальницы в храме раскинуло ветви, осыпанные, как и положено, цветами, гигантское дерево. С другой стороны взор привлекали неяркие вечнозеленые деревья, чьи стволы устремлялись ввысь: сквозь веер их переплетенных ветвей просвечивало сумеречное небо.

В небе над рощами порой появлялись стаи ворон, – казалось, будто там рассыпали зернышки кунжута. Кёко с детства наблюдала за этими стаями. Вороны над храмом Мэйдзи, вороны над усыпальницей, вороны над дворцом Омия... В окрестностях хватало мест, где они сидели. Птицы появлялись и на балконе в гостиной. Однако черные точки, которыми виделась тесно сбившаяся вдалеке стая, вдруг рассыпались в разные стороны и исчезали – это оставляло в детском сердце неясную тревогу. Кёко в одиночестве часто следила за ними: только подумаешь, что птицы исчезли, как они появляются снова. Разом взорвавшее тишину в кроне ближайшего дерева карканье рассекает небо...

Сейчас Кёко об этом забыла, но восьмилетняя Масако, которую нередко оставляли одну, наблюдала за воронами с балкона.

Сразу за воротами европейского типа находился двор с садом, слева – дом в европейском стиле, дальше слева – маленький японский домик на одну семью. Машину на узкой дороге перед воротами было не поставить, поэтому парковались все во дворе, перед лестницей европейского дома.

Нацуо вошел во двор и был сражен редкой красотой сумеречного неба над рощей вокруг дворца Омия. Он оставил всех при входе, а сам вернулся полюбоваться этим зрелищем. Все знали немногословный, мягкий, спокойный характер Нацуо, поэтому не интересовались без особой причины, чем он занят. Вернись, не входя в дом, к воротам кто-то другой, понадобился бы предлог. По меньшей мере не обошлось бы без вопроса: «Куда это ты?» Нацуо же никто не стал спрашивать.

Нацуо чудом миновали жизненные невзгоды, с которыми обычно сталкивается впечатлительный человек. Раньше не возникало конфликта между его впечатлительностью, с одной стороны, и внешним миром, чужими людьми или обществом – с другой. Она, словно карманный воришка, незаметно для всех просто влезла с улицы в любимую им кондитерскую. Нацуо ни разу по-настоящему не страдал и постоянно ощущал, что ему этого недостает.

Пожалуй, он сам не ответил бы на вопрос: это его доброжелательность и ровный мягкий характер, привлекавший людей, обогатили его впечатлительность, или бескорыстная врожденная впечатлительность способствовала возникновению характера, способного защитить уязвимое тело? Не очень-то он гнался за балансом, но все же сохранял его. Он не искал глубокого смысла в окружающем мире, поэтому и мир спокойно доверял ему свою прелесть. В течение двух лет после окончания художественного университета выпускники проходили специальный отбор, но этого деликатного, доверчивого молодого художника не тревожил даже вопрос о таланте.

Вновь и вновь взгляд Нацуо выхватывал часть внешнего мира. Он почти бессознательно постоянно стремился увидеть все.

Вечерние тучи, похожие на растекшийся по воде алый рисунок, накрыли сумрачное небо; засверкала зелень на вершинах деревьев в роще. Над ними медленно кружили стаи ворон, похожих на зернышки кунжута. Верх неба, предчувствуя мрак, окрасился в темно-синий цвет.

«Я уже совсем забыл недавнюю драку, – думал Нацуо. – То было зрелище, способное разогнать скуку».

Зрелище оказалось довольно опасным – и тем не менее зрелищем. Драка началась из-за машины Нацуо, но нельзя сказать, что это произошло с ним. Никаких скандалов – в этом состояла особенность его жизни.

В прошлом месяце японское рыболовецкое судно рядом с атоллom Бикини накрыло пеплом после взрыва водородной бомбы. Члены команды заболели лучевой болезнью, жители Токио боялись облученного радиацией тунца, и цена на него резко упала. Это было тяжелое происшествие. Но Нацуо не ел тунца. Инцидент произошел не с ним. Он по своей доброте сочувствовал пострадавшим, однако не испытывал особых душевных потрясений. Нацуо придерживался типично детской теории фатальности и при этом неосознанно, тоже по-детски, верил в некоего бога. Бога-защитника, который его спасет. Поэтому, само собой разумеется, он не очень-то стремился ко всяким поступкам.

Его глаза просто смотрели вокруг. Всегда искали объект. На то, что ему нравилось, смотрели, ни на миг не отрываясь, – это непременно было нечто прекрасное. Однако временами даже у него возникала легкая тревога. «Можно ли мне любить все, что нравится моим глазам?»

Кто-то крепко схватил его сзади за брюки. Масако, издав воинственный клич, рассмеялась. Среди гостей, посещавших этот дом, Масако больше всех любила Нацуо.

Масако исполнилось восемь. У нее было славное личико, она любила, что для девочек большая редкость, исключительно детскую одежду. Ее мир не пересекался с миром взрослых, она им даже не подражала, а выглядела куколкой – «такой миленькой – прямо хочется съесть». Пожалуй, это можно было назвать проявлением критического мышления.

Пока Нацуо был у них дома, Масако постоянно вилась рядом: касалась то рукава, то брючины, то галстука. Кёко неоднократно ругала ее за такую назойливость, Масако на время отходила, а потом снова прилипала к Нацуо. Кёко же сразу забывала про свои замечания.

«Прояви я прошлой ночью слабость, не смог бы смотреть в глаза этому ребенку. Я поступил правильно», – думал наивный Нацуо, глядя пахнувшие молоком волосы Масако.

В гостинице в Хаконэ Сюнкити и Осаму останавливались в номерах каждый со своей женщиной. У Кёко и Нацуо были отдельные номера: Кёко по известным только ей причинам с самого начала выставляла напоказ свою честность. Однако поздно ночью она постучала в дверь Нацуо.

– Есть что почитать? Никак не могу уснуть.

Нацуо, который еще не спал и читал, со смехом протянул ей лежавший рядом журнал. Кёко, хотя ей не предлагали остаться, опустилась рядом на стул. Беседа в такое время суток должна была обеспокоить Нацуо, но ничего такого не случилось. Ведь Кёко, обычно презиравшая кокетство, болтала без умолку.

Нацуо очень ценил дружбу с Кёко. И в этой поездке тоже не должно было произойти ничего, ставящего эту дружбу под сомнение. Впервые он попытался робко взглянуть на Кёко другими глазами. Но его усилия причинили боль.

В свободном вырезе ночной рубашки чуть виднелась гладкая грудь, под слишком ярким в ночи светом лампы она казалась особенно белой. В ровной линии от горла к груди было что-то гордое. Кёко все болтала, но в неподвижных глазах таился жар, время от времени она кончиками красных, в изысканном маникюре ногтей нервно трогала, будто обжигаясь, мочки ушей. И потом объяснила:

– Я ношу серьги, а без них чувствую себя странно. Нет ничего в ушах, а кажется, что вся голая.

От Нацуо, скорее всего, ждали просто решительности. Но он слишком хорошо знал Кёко, и сейчас не хотелось проявлять несвойственную ему наглость. Куда лучше вечное согревающее счастье. К тому же он верил, что Кёко – порядочная женщина. Чтобы усомниться в этом, пришлось бы рискнуть самоуважением и проявить невероятное мужество. У Нацуо полностью отсутствовало юношеское почтение к грубому слову «мужество». Чувства, оставленные без внимания, не могут долго пребывать в неопределенности. Чувства сами называют себя, упорядочиваются, развиваются. Не то чтобы Нацуо знал об этом из личного опыта, он просто усвоил свойственный ему одному способ – полагаться на природу.

Вскоре Кёко, похоже, поверила, что нерешительность Нацуо проистекает из его «уважения» к ней. Лицо ее вдруг просветлело, ясным, звонким, совсем не ночным голосом она произнесла:

– Спокойной ночи.

И вышла из номера.

– А почему в автомобиле стекло разбито? – спросила Масако. – Чем-то бросили?

– Бросили, – усмехнувшись, ответил Нацуо.

– А чем?

– Камнем.

– А-а...

Масако, в отличие от других детей, никогда не приставала к взрослым с бесконечными «почему?». Она больше не спрашивала. Загадка не разрешилась. И любопытство не иссякло. У восьмилетней девочки это вошло в привычку: в какой-то момент она прекращала всякие расспросы.

* * *

Молодежь во главе с Кёко налегала на выпивку. Пили принесенный кем-то херес. Один Сюнкити стойко пил апельсиновый сок. К его заботам о здоровье все уже привыкли и не обращали на это внимания.

Кёко заставила Сюнкити и Осаму обстоятельно рассказать о прошлой ночи. Оба сознались, что за гостиницу заплатили женщины. У Осаму не хватало, а Сюнкити и вовсе был без денег, так что это получилось само собой. Когда речь зашла о тонкостях, оказалось, Сюнкити ничего не помнит. Осаму помнил и равнодушно излагал детали. Кёко хотела знать все в мельчайших подробностях. Нацуо, как обычно, неодобрительно взирал на то, что при обсуждении подобных тем вокруг с простодушным видом слоняется Масако.

– С ума сошла, ну просто с ума сошла. Чтоб Широко такое вытворяла!

– И тем не менее вытворяла, – отозвался Осаму. Ему казалось, что в его словах – сплошное вранье, ни слова правды.

Нацуо обратился к Сюнкити:

– Я должен сказать тебе спасибо. Благодаря тебе спасли машину.

Сюнкити, совсем как те, кто пил вино, вальяжно раскинулся в кресле и потягивал апельсиновый сок. На слова Нацуо он просиял и молча помахал у лица рукой – мол, не важно это.

И почему с Сюнкити всегда случаются какие-то истории, а с Нацуо – нет? Воспоминания Сюнкити сплошь связаны с боксом и драками, в которые его неожиданно втянули. О женщине он сразу забыл.

Нацуо с некоторых пор, как художника, интересовало лицо Сюнкити. Это было простое, мужественное лицо, однако хорошо вылепленное, и частые следы драк только украшали его. Среди лиц боксеров встречаются и очень красивые, и крайне безобразные. Есть лица, синяки на которых подчеркивают красоту, и лица, которым, наоборот, добавляют уродливо-

сти. И плотная, поблескивающая кожа... Лицо Сюнкити – незатейливое, с четкими линиями, и огрубевшая кожа усиливала его безыскусность, подчеркивала детали, делала брови безупречно ровными, а большие глаза – еще живее. Они особенно выделялись благодаря этой живости и остроте взгляда. В отличие от лица обычного мужчины, на этом лице, напоминающем футбольный мяч, заметны были только миндалевидные глаза, их здоровый блеск озарял и, собственно, представлял все лицо.

– А что потом? Потом?... – понизив голос, спросила Кёко. Тише она заговорила не потому, что стеснялась Сюнкити и Нацуо, – ей казалось, так она ободряла того, кого спрашивала.

– Потом...

И опять Осаму в мельчайших, ненужных подчас подробностях принялся описывать, что происходило в постели. По мере рассказа ему все больше казалось, что сам он в прошлой ночи не участвовал. Острые складки накрахмаленной простыни, легкая испарина, пружинящая, качающаяся, подобно кораблю, кровать – вот это точно было. Как и бесконечный покой в тот миг, когда его покинуло чувство удовлетворения. Одно лишь неясно: сам-то он при этом присутствовал или нет?

Небо залили сумерки. Масако устроилась на коленях Нацуо и листала комиксы.

Нацуо вдруг осенило: он задумался о «счастье». «Если и можно назвать дом, где я сейчас, семьей... – размышлял он. – Жуткая какая-то семья!»

Французские окна балкона были открыты, и в комнату долетали гудки отправлявшихся электричек. На станции Синаномати зажглись фонари.

В десять часов вечера позвонили от ворот. Кёко, уставшая от путешествий, готовилась лечь. Но, услышав, что пришел Сугимото Сэйитиро, привела себя перед зеркалом в порядок и постаралась стряхнуть сон. Масако уже спала. Но в обычаях этого дома было принимать гостей в любое время дня и ночи.

Ожидавший в гостиной Сэйитиро при появлении Кёко недовольно произнес:

– Как это. Все уже разошлись?!

– С Хироко и Тамико расстались на Гиндзе. Мужчины втроем приехали сюда, Сюнкити и Нацуо ушли рано. Дольше всех ошивался Осаму, но и он минут сорок назад убрался. Я? Я как раз сейчас собиралась лечь.

Кёко не добавила: «Стоило бы позвонить». Ведь Сэйитиро давно привык приходить без предупреждения. Поздно ночью он обычно являлся уже навеселе. Более того, среди гостивших у нее мужчин Сэйитиро был самым старым другом, Кёко еще с десяти лет считала его младшим братом.

– Как съездили? – поинтересовался Сэйитиро. Вопрос был явно праздный, поэтому Кёко сначала решила не отвечать, но потом все-таки отозвалась:

– Да так, ничего особенного.

В этом доме лицо Сэйитиро выражало одновременно крайнее недовольство и удивительное спокойствие. Его можно было бы сравнить со служащим, заглянувшим после работы в бар, но массивный подбородок и острый взгляд Сэйитиро, его волевой вид опровергали это сравнение. С таким лицом, под его защитой, он уверовал в крах мира.

Кёко предложила ему выпить, и Сэйитиро сразу завел речь об этом, как любители гольфа, сводящие все беседы к гольфу:

– Сегодня такие разговоры никто и не поймет. Вот в разгар бомбардировок во время войны все, пожалуй, думали бы так же, как ты. Война закончилась, коммунисты уверяли, что завтра грянет революция, это еще куда ни шло. И несколько лет назад, пока шла война в Корее⁵,

⁵ Война в Корее, или Корейская война (1950–1953), – вооруженный конфликт между Республикой Корея и КНДР времен холодной войны.

все, может быть, в это верили... А что сейчас? В лучшем случае вернулись в прежние времена и живут себе спокойно. Кто, ты думаешь, верит в то, что мир пропал? Никто из нас ведь не был на «Фукурюмару»...⁶ Я не говорю о водородной бомбе, – заметил Сэйитиро. Пьяный, он возвышенным поэтическим языком принялся излагать Кёко свою точку зрения.

По его мнению, именно то, что сейчас нет никаких признаков, свидетельствующих о гибели мира, является неоспоримым предвестником его краха. Разного рода конфликты завершаются с помощью разумных переговоров. Люди верят в победу мира и разума, возрождаются авторитеты, споры стремятся решать путем взаимных уступок. Кто угодно заводит редких собак, сбережения пускают на спекуляции, молодежь обсуждает величину накоплений, чтобы жить на пенсии, а это наступит не через один десяток лет... Все наполнено весенним светом, сакура в полном цвету – это неоспоримо предвещает крушение мира.

Обычно Сэйитиро не спорил с женщинами. Он был из тех мужчин, которые избегают препирательств. Однако чувствовал, что с Кёко они мыслят одинаково. Эта женщина отринула все правила, жила в праздности, тщательно приводила в порядок лицо ради зашедшего в десять вечера гостя, но не была продажной.

– Цепочка совсем не подходит к этому платью, – без всякого стеснения высказался он поверх бокала вина.

– Да? – Кёко поспешно поднялась, чтобы сменить цепочку. Она полностью доверяла мнению друга детства.

«Последнее время, когда она устает, у нее в уголках глаз появляются морщинки, – думал Сэйитиро. – Она на три года старше меня, ей уже тридцать. Как это несправедливо, что мы, как и мир, должны стареть. Хотя мы не собирались прожить настоящее».

Вернулась Кёко. Новая цепочка на самом деле гораздо больше, чем прежняя, шла к ее платью. Это небольшое изменение – всего одно небольшое изменение на крохотном кусочке белой кожи между горлом и грудью, – казалось, как-то уменьшило противоречия в мире, внесло чуточку гармонии. Впечатления Сэйитиро были, скорее всего, преувеличены из-за опьянения. Во всяком случае, он оценил:

– На этот раз подходит.

Кёко была довольна, они улыбнулись друг другу. Радость взаимопонимания, пусть и нарочитая, трогала душу обоих.

В этом доме Сэйитиро, после того как умер отец Кёко и был изгнан муж, стал дышать свободнее. Его покойный отец всю жизнь преданно служил отцу Кёко, а в воскресенье и праздники вместе с женой и ребенком приходил справиться о здоровье патрона. Благодаря «демократичному» отцу Кёко маленький Сэйитиро играл с его дочерью, выслушивал грубости и обидительно получал перед уходом домой сверток со сладостями. Кёко, взрослея, стала стесняться посещений Сэйитиро. Его отец уже не брал сына с собой.

После того как Кёко вышла замуж и пока был жив ее отец, в студенческие годы Сэйитиро возродил обычай несколько раз в год наносить им визит: хозяин дома и молодые супруги тепло его встречали. Но теперь, приходя сюда, Сэйитиро вел себя как глава семьи. Если вдуматься, было в таком поведении что-то оскорбительное.

Тем не менее Сэйитиро хорошо знал Кёко и в душе одобрял то, с какой яростью она рушила сословные различия. Она стала для него всего лишь идеальным средством, которое, как столовый прибор, всегда под рукой. Его появление в любое время дня и ночи, беззастенчивое равнодушие, небрежность, с какой он представлял Кёко своим приятелям, а затем окружал ее ими... Всего этого она желала сама. Преувеличением было бы сказать, что Кёко любила

⁶ «Фукурюмару» – название японской шхуны, рыбаки которой пострадали от радиоактивного пепла и воздействия радиации, оказавшись близ Маршалловых островов при испытании водородной бомбы США в 1954 году на атолле Бикини.

Сэйитиро, но в моменты одиночества видела в нем самого близкого друга. В этом мире она больше всего презирала раболепство. В сравнении с ним высокомерие выглядело привлекательнее. Может быть, они и правда еще с детства стали единомышленниками.

Кёко получала вполне естественное удовольствие от того самоуправства, которое Сэйитиро демонстрировал в ее доме. Он во всем знал меру. Давая Кёко серьезные советы по управлению имуществом, заботился о выгоде. Это было частью его таланта. В то же время безоговорочный нигилизм бросал на него свою мрачную тень, и Масако не любила его больше, чем кого-либо.

Сэйитиро упрямо пророчил конец света.

– Невозможно смотреть, как все губят в местах, восстановленных с таким трудом, – ответила Кёко. – На прошлой неделе я поднялась на крышу общественного центра в Мидзунами и после долгого перерыва рассмотрела Токио сверху. Своими глазами увидела, насколько уже восстановили город, это удивительно. Полностью исчезли следы пожарищ, беспорядочные ямы засыпаны, на пустырях все меньше остается сорной травы, лишь люди движутся, как носимые ветрами семена сорняков.

Сэйитиро спросил, неужели такой пейзаж действительно обрадовал Кёко.

– Я этого не почувствовала, – отозвалась она.

– Так оно и есть. Ты тоже, если говоришь, как думаешь, любишь разрушения и уничтожение, тут мы с тобой заодно. Я навсегда запомнил отблеск огромного пламени на горящих просторах и смотрю на современные кварталы как бы из прошлого. Точно. Когда сейчас, шагая по новой холодной дороге из бетона, ты не чувствуешь под ногами жара горячих углей на сожженной земле, тебе чего-то не хватает. Тебе грустно, когда ты не видишь в новых современных, облицованных стеклом зданиях выросшие на пожарище одуванчики. Но тебе нравится разруха, которая уже ушла в прошлое. В тебе, должно быть, говорит гордость за то, что в период крушения ты одна воспитывала дочь, все подробно изучила, создала. Ведь в тебе живет странное, ни с чем не сравнимое отвращение к различным поступкам, к тому, чтобы восстать из пепла, осуждать безнравственность, прославлять и реформировать строительство, стремиться стать еще достойнее, наобум, безрассудно возрождаться, резко менять свою жизнь. Ты не можешь жить в настоящем.

– Не хочешь ли ты сказать, что сам живешь в настоящем? – парировала Кёко. – Вечно боишься будущего, весь полон этим огромным страхом, а сейчас только и говоришь о конце света.

– Верно, – признался Сэйитиро. Он заговорил воодушевленно, в словах против его воли сквозила горячность юности. Однако за стенами этого дома он никогда не допускал подобной оплошности. – Так оно и есть. Как можно жить дальше, если не веришь в неизбежный конец света? Как без боязни, что тебя стошнит, ходить на службу и обратно по дороге с красными почтовыми тумбами, зная, что они здесь навечно? Раз так, он абсолютно недопустим – этот красный цвет тумб, их уродливо распахнутые щели-рты. Я бы сразу пнул ее, боролся бы с ней, повалил, разбил бы вдребезги. Я бы вытерпел и позволил расставить эти сооружения на моем пути, как позволил бы существовать начальнику станции с лицом тюленя, которого встречаю каждое утро. Смирился бы с яично-желтым цветом стен лифта в здании фирмы, воздушными шарами с рекламой, на которые я смотрю в обеденный перерыв с крыши... Все потому, что уверен – мир рухнет.

– А-а, ты все позволишь, все проглотишь.

– Проглотить, как это делает сказочный кот, – вот единственный оставшийся способ бороться и жить. Этот кот глотает все, что встречает на своем пути. Повозку, собаку, здание школы, когда пересохнет горло, цистерну с водой, королевскую процессию, старушку, тележку с молоком. Он знает, как нужно жить. Ты мечтала о крахе мира прошлого, я же предвижу крах будущего. Между двумя этими крушениями потихоньку выживает настоящее. Его спо-

соб жизни подлый и дерзкий, до ужаса безразличный. Мы опутаны иллюзиями, что это будет длиться вечно и мы будем жить вечно. Иллюзии постепенно расползаются, парализуют толпы людей. Сейчас не только исчезла граница между грезами и реальностью, все считают, что эти иллюзии и есть реальность.

– Только ты знаешь, что это иллюзии, а потому спокойно их проглотить, ведь так?

– Да. Ведь я знаю, что подлинная реальность – это «Мир накануне гибели».

– Откуда ты это знаешь?

– Я вижу. Любой, присмотревшись, увидел бы причину своих действий. Однако никто и не стремится вглядываться. У меня есть мужество всматриваться, своими глазами я, как на ладони, увидел это раньше других. Так же ясно, как часовую стрелку на башенных часах.

Сэйитиро все больше пьянел. По красному лицу, неловким движениям становилось понятно, что он уже не отвечает за свои мысли. Этот юноша в приличном темно-синем пиджаке, скромном галстуке и неброских носках никогда особо не стремился смешаться с толпой, и даже около грязноватых манжет его рубашки витал запах самой обычной, заурядной жизни. Складывалось впечатление, что грязь осела не естественным путем, а он нанес ее на рукава собственным тяжким трудом. Та́я и разлагаясь, будто выброшенная на песчаный берег медуза, в доме Кёко он, казалось, отверг любой выбор: углублявшиеся противоречия, идеи, чувства, одежда – все представляло собой не более чем разношерстную смесь.

Внезапно Сэйитиро сменил тему:

– Как Сюн перед тренировкой?

– Похоже, прекрасно. Уходил в хорошем настроении.

Кёко рассказала о сегодняшней послеобеденной драке.

Сэйитиро вдоволь посмеялся. Сам он не ввязывался в драки, но любил рассказы о чужих стычках. Похвалил Кёко за храбрость и что она не растерялась.

Сэйитиро глубоко втянул ночной воздух, широко зевнул. Задвигался ярко освещенный острый кадык. Резко, будто желая сменить позу, он встал, подошел к Кёко, пожал ей руку.

– Спокойной ночи. Пойду. Ты, наверное, устала после поездки.

– Так чего ж ты приходил? – спросила Кёко, не вставая со стула. Она не смотрела на Сэйитиро, а разглядывала острые кончики ярко-красных ногтей, которые в ночи казались еще острее.

– Зачем приходил, спрашиваешь?

Помахивая портфелем с документами, он прошелся несколько раз перед дверью, словно любясь тем, как движется тень по дубовым створкам, затем изрек:

– Что-то голова болит. Да... Должно быть, хотел дать тебе совет или услышать твое мнение.

– По какому поводу?

– Я скоро женюсь.

Кёко ничего на это не сказала и вышла в прихожую проводить Сэйитиро. Усилившийся к ночи ветер крутился, ударяясь о каменную ограду и стены, которые с трех сторон окружали двор. Там, куда доставал свет из прихожей, было видно, как ветер раскачивает красные глянцевые плоды и сочные бледно-зеленые листья аукубы. Шарик плодов висели гроздьями.

– Ужасный ветер, – на прощание произнесла Кёко. Сэйитиро обернулся, во взгляде его мелькнуло подозрение. Ведь он знал, что Кёко не станет во время сильного ветра пояснять: «Ужасный ветер». Она же решила, что именно подозрительный взгляд в этот момент был наивысшим проявлением его бесцеремонности. Однако у Кёко не было причин его ненавидеть.

Масако, которая по-европейски спала в комнате одна, проснулась, когда удалился Сэйитиро. Взглянула на часы, подумала: «Сегодня последний гость ушел довольно рано». Она

встала, стараясь не шуметь, выдвинула ящик комода с игрушками. У нее это здорово получалось – беззвучно выдвинуть ящик.

От кукольной одежды, которой он был заполнен, повеяло камфарой. Масако нравились обернутые в цветной целлофан камфарные шарики, в ящике их было много. Оставаясь одна, она любила сунуть нос в ящик и полной грудью вдохнуть стойкий, без примесей запах.

Кукольные платья в слабом свете уличного фонаря, проникавшем сквозь стекло, казались светло-голубыми и нежно-персиковыми. Грубое дешевое кружево волнами окаймляло подол. Масако временами раздражала эта вечно чистая одежда.

Оглядевшись, она прикусила высунутый язык и потянула из-под кукольных нарядов снимок. Бросилась к окну и при неясном свете вперила взгляд в фотографию отца, которого выставили из дома. На фотографии был вялый, тщедушный, но изящный молодой мужчина в очках без оправы, с волосами на прямой пробор, из-под воротника выглядывал небольшой узел неровно завязанного галстука.

Масако без сентиментальности, словно отыскивая человека по фотографии, пристально рассматривала снимок. И, как вошло у нее в привычку при пробуждении ночью, тихо прошептала:

– Подожди. Я когда-нибудь обязательно позову тебя назад.

От фотографии пахло камфарой. Так для Масако пахли и глубокая ночь, и тайна, и отец. Надышавшись этими ароматами, она хорошо спала. Здесь уже исчез запах псины, который так ненавидела Кёко.

Глава вторая

– Инукаи понесло, – заметил Саэки, сослуживец, вместе с которым Сэйитиро вышел пройтись в обеденный перерыв.

Они направлялись к Нидзюбаси⁷, собирались пойти в парк.

– Судя по фамилии, он домашняя собака, – продолжил Саэки.

Сэйитиро кивнул:

– Не понял он мужчин. Упустил единственный в жизни шанс возвысить мужчину.

Премьер Ёсида был из тех, кто предпочитал привычный уклад и терпеть не мог реформы. И не только Ёсида: хватало и других старорежимных, забавлявших людей упрямец. Однако министр юстиции Инукаи Такэру⁸ повел себя оригинально. Он стал первым, кто независимо от личных идей и пристрастий в лицах грубо разыграл перед публикой, какой вклад должен внести в существующий порядок. Все было нарочито комично и утрировано. Цилиндр, который надевает шут, заставляет сомневаться в достоинстве цилиндра как символа – так и это неожиданно развенчало величие режима. Обозлило народ, и возмущение стало повсеместным.

Вчера утренние выпуски газет объявили, что министр юстиции Инукаи воспользовался особыми полномочиями, вечерние выпуски опубликовали его заявление об отставке. В глазах общества это выглядело непоследовательно. Если ты намерен объявить, что уходишь в отставку, то не должен использовать свое особое право, а уж если использовал, то не говори об отставке. Инукаи хотел угодить и премьеру, и массам, что, естественно, вызвало противоречия. То была карикатура, злившая людей.

⁷ *Нидзюбаси*, или «Двойной мост», – парадный вход на территорию Императорского дворца, окруженного рвом, а также близлежащие окрестности, поскольку в понятие дворца входит и территория вокруг него.

⁸ *Инукаи Такэру* (1896–1960) – японский министр юстиции в 1952–1954 годах. Замечание основано на игре слов: перестановке частей в фамилии и прямого значения получившегося слова «каи-ину» – домашняя собака.

Все возмущались. Гнев обуял все сословия, распространился беспрецедентно, но стоит добавить, что сделался и самым безопасным. Этому Сэйитиро сочувствовал. Он тоже был обязан возмущаться, и возмущаться было естественнее.

– Он прямо как визгливая женщина. Как ты думаешь? – снова заговорил Саэки.

– Безумно возмущает, – отозвался Сэйитиро. Он всегда держал себя в руках, чтобы в его взглядах, не дай бог, не пробился ревизионизм, каким его представляли в бесконечно консервативных отсталых газетах.

Был довольно теплый, чуть сумрачный разгар дня. Толпы служащих – мужчины и женщины – совершали послеобеденный моцион. Сэйитиро и Саэки остановились у крепостного рва.

Зеленела ива, на узком газоне, окружавшем ров, между листьями разросшейся люцерны выглядывали одуванчики. Вода во рву, похожая на иссиня-черное варево, собиралась болотом в углах, – казалось, там плавают сверху изнанкой грязный ковер.

Саэки и Сэйитиро двинулись дальше. Перешли через дорогу, где постоянно сновали машины. Им, сослуживцам, знавшим округу как свои пять пальцев, все представлялось, как и в офисе, привычным, неизменным. Сосна – ориентир на исхоженной дороге – ничем особо не отличалась от вешалки для головных уборов в офисе. Ее как будто бы не существовало.

Саэки, похоже, в голову пришла очередная прихоть.

– Пойдем куда-нибудь, где мы еще не были.

Сэйитиро, чтобы намекнуть ему на нехватку времени, взглянул на часы. Саэки прошел чуть вперед и остановился. Посмотрел на стоявший экскурсионный автобус и, похоже, вспомнил место, от которого обычно держался на почтительном расстоянии. Здесь, в парке, проходила невидимая государственная граница: прогуливающиеся служащие и туристы из автобуса, само собой разумеется, не посягали на чужую территорию.

Служащие – и мужчины, и женщины – двигались чуть церемонно, гордо выпятив грудь, в общем, как на картине городского пейзажа. Их желудок требовал движения под мягкими, полупрозрачными лучами солнца, забота о здоровье приводила в движение ноги. Чистый воздух, солнце, получасовая прогулка – все на пользу, еще и даром.

Сэйитиро подумал: «Естественно, когда такая забота о здоровье рождается у кого-то одного. Но множество людей, озабоченных тем же и действующих синхронно, фантастически уродливо. Как это отвратительно, когда такое количество народу ставит своей целью прожить долго. Дух санатория. Концентрационного лагеря».

Он вспомнил о ранке в уголке губ, которую утром оставила безопасная бритва. Лизнул кончиком языка, во рту остался горько-соленый привкус. Вспомнил, как его взволновала эта крошечная оплошность, когда он вдруг увидел в зеркале выступившую на губе кровь. Хорошо изредка пренебречь осторожностью. Может быть, бритва по его воле на миг скользнула вбок.

– Вот тут ты еще, наверное, не бывал, – гордо произнес Саэки, пробираясь впереди Сэйитиро между обожженными столбами, преграждавшими путь машинам.

– В детстве точно приходил, но...

– В детстве – это другое.

Ступая по бумажному мусору, разбросанному в тени низкой сосны, они увидели бронзовый памятник. Всем известный памятник сидящему на коне самураю Кусуноки Масасигэ⁹.

Кусуноки в надвинутом на глаза рогатом шлеме правой рукой крепко держит повод. У мощного рысака напряжены все мускулы, голова горделиво поднята, левая передняя нога копытом рассекает воздух, грива и хвост вздыблены встречным ветром. Удивительно, что старый памятник воину, верному императору, благополучно пережил оккупацию. Возможно, на это смотрели сквозь пальцы, потому что конь был выполнен едва ли не лучше самого Кусуноки.

⁹ Кусуноки Масасигэ (1294–1336) – японский военачальник и политик.

Под тонкой бронзовой кожей наливались, как живые, мускулы готового броситься в битву молодого жеребца, угадывались набухшие вены. Мощь, сквозившая в позе, вызывала в воображении врага там, куда направлял коня всадник. Но враг уже мертв. Опасный, сильный, законный в броню враг пропал из виду, давно сбежал с поля боя, обернулся хитрым и лукавым и усмехается, паря в неясной весенней дымке над головами деревенщин, которые, раскрыв рот, разглядывают бронзового коня.

Девушка-гид объясняла несколько таким из деревни:

– Посмотрите. У лошади на кончике хвоста воробьи свили гнездо и сейчас чирикают «тюко, тюко» – звучит так же, как «верноподданность и сыновний долг».

Поднявшийся во второй половине дня ветер буквально срывал с высохшей от весенней пыли губной помады звонкий молодой женский голос. Кое-кто из экскурсантов, словно не слышав, прикладывал к уху морщинистые руки, в которые навеки въелась земля.

Горы бумажного мусора, невероятно много голубей. Голуби сидели на шлеме между рогами. Шорох шагов усталых путешественников, уныло шаркающих по гравию. В общем, депрессивная картина – оскудение, покрывшее все, будто весенняя пыль.

Мрачный вид, мрачный пейзаж... Они не говорят, как изменились существующие в них вещи. После окончания Корейской войны временное оживление инвестиций продолжалось весь прошлый год, но вскоре наступила депрессия. Само слово «депрессия», как туча пепла, поднялось со страниц газет, разлетелось по ним, замутило воздух, осело на предметах, изменилось по смыслу. В мгновение ока деревья превратились в «депрессивные», дождь, бронзовый памятник, галстук стали «депрессивными». Некогда, в похожие времена, читатели радостно встречали истории из жизни слуг Куни Сасаки, сегодня народ с удовольствием читает повести Гэндзи Кэйты¹⁰. Все дело в том, что, хотя книги такого рода в некоторой степени продукт отчаяния, в них нигде не встречается само слово «отчаяние».

Саэки и Сэйитиро сели на металлическую цепь, ограждавшую памятник. Приятно было с бесстрастным лицом курить в окружении туристов.

– Завидую я Кусуноки. Не думал он о таких вещах, как процветание, депрессия.

– Мы сами в чем-то Кусуноки. Хорошо, если бы только верноподданность и сыновний долг заставляли терять голову, – произнес Саэки, больше склонный к цинизму, чем Сэйитиро. – И потом, с сильным конем у нас все в порядке. Наш конь зовется компанией финансовой группы.

– На самом деле сильный конь.

– Бессмертный. Просто феникс среди коней. Лапы, крылья оторвали, сожгли, а он вмиг возродился.

Саэки был циником, но ни за что на свете не поверил бы в «крах». Он и по жизни верил в бессмертие, несокрушимые памятники. В спорах его чуть выпуклые глаза прямо сверкали за стеклами очков.

– А-а, да. Забыл тебе рассказать, – неожиданно, словно вернувшись на землю, проговорил Саэки. – Утром в газетах появилась заметка, что женщина, глава косметической фирмы, обанкротившейся в депрессию, покончила с собой. Все, похоже, считают, что причина не в этом, а в мужчине. Вот доказательство: к роковому шагу подтолкнуло то, что ее в молодости бросил мужчина. Она добилась успеха и, притворяясь мужененавистницей, то и дело меняла спутников, а последний мужчина бросил ее в момент банкротства фирмы. И кто, ты думаешь, был первой любовью, кто подготовил почву для самоубийства? Наш начальник отдела, господин Саката.

¹⁰ Куни Сасаки (1883–1964) – японский романист. Гэндзи Кэйта (1912–1985) – японский писатель и сценарист.

Сэйитиро уже слышал эти сплетни. Однако простодушно и по всем правилам изобразил удивление:

– Да что ты говоришь! И наш начальник пережил романтические времена...

– Ты прямо сама наивность.

Сэйитиро, услышав это, сдержал довольную улыбку.

– Нет здесь никакой романтики. Просто в студенческие годы начальник сблизился с ней, чтобы она дала деньги на учебу. Типичный прагматизм. Начальник еще до прихода в нашу компанию «Ямакава-буссан» постиг дух предпринимательства.

– Мы должны брать с него пример.

– Ну, по крайней мере, не ты. Ты простодушный славный парень: если влюбишься, то безоглядно, со всей пылкостью.

Такая неожиданная оценка со стороны осчастливила Сэйитиро. Он слишком открылся перед Саэки, но тот, как ни крути, был способным, рассудительным и бесконечно далеким от типа славного парня – он наслаждался собственной сложностью. Как-то раз он с серьезным видом поделился с Сэйитиро своей бедой:

– Завидую я тебе. Ведешь себя естественно, при этом и родился там, где адаптировался к обществу. У тебя нет страха перед будущим, уважения к авторитетам и чересчур строгим взглядам на жизнь.

Возвращаясь окольным путем вокруг перекрестка на Хибия, они критиковали власти за политику дефляции. Единственный способ – это навести порядок в финансах. Формирование бюджета прошло практически без обсуждений. Повторялся один сценарий: как восторг от возвышенной страсти неизбежно заканчивается крушением иллюзий, так и подъем производства когда-то заканчивается горой нереализованных товаров, ухудшением торгового баланса, распылением государственных вложений. Заканчивается возможностью инфляции, экономией финансов, политикой дефляции... Однако служащие из торговых фирм могли безопасно критиковать правительство. Правительство еще со времен Мэйдзи¹¹ привыкло, что малейшая предосторожность – именно предосторожность – вызывает смех у лавочников.

Сэйитиро заметил афишу с торговой площадки перед императорским театром. Она извещала, что послезавтра начинаются выступления Жозефины Бейкер¹². Кёко по телефону приглашала его вместе пойти на концерт, но он отказался. Он не любил сопровождать Кёко в людные места. Встречаться лучше было у нее дома. Кёко равнодушно выслушала этот привычный отказ и заметила: «Тогда пойду с Осаму». Красивый, рассеянный Осаму куда больше подходил для того, чтобы сопровождать Кёко. Витающий в облаках юноша, на лице которого причудливо сочетались мужские брови, девичьи губы и романтически влажный взгляд. Со стороны Сэйитиро и Осаму были совсем не похожи, но Сэйитиро иногда казалось, что он понимает, о чем думает Осаму. Тогда бессознательный образ жизни Осаму и вполне сознательный образ жизни Сэйитиро выглядели как две стороны медали.

На углу квартала показалось мрачное старое здание компании «Ямакава-буссан». Было без четверти час. Котани – новичок, сослуживец из их же отдела, закашлявшись, с горящими щеками приветливо взглянул на проходивших мимо Сэйитиро и Саэки, сбавил шаг и, перебирая ногами, как заведенный, направился к служебному входу.

– Эй, не стоит так спешить, – скорее прошептал Сэйитиро, рассчитывая, что не услышат, но его уже и так не было слышно.

– Кто-то сказал ему, что нужно добраться до стола хотя бы на шаг раньше старших.

¹¹ Мэйдзи – по японскому летосчислению, основанному на годах правления, период 1868–1912 годов после буржуазной революции 1867–1868 годов, когда закончилось правление сёгуната и была формально восстановлена власть императора.

¹² Жозефина Бейкер (Фрида Джозефин Макдональд; 1906–1975) – американо-французская киноактриса, танцовщица, певица, звезда парижских варьете и символ «века джаза».

– Все новички у нас ростом с каланчу. Хорошо их кормили. Не то что наше поколение – мы выросли на пищевых заменителях и бобовом жмыхе.

Бросающаяся в глаза молодость новичков, слишком яркий блеск глаз, натянутая улыбка с желанием понравиться, но не выглядеть заискивающим; избитый прием – чесать голову при промахе, напрягать мускулы с целью подчеркнуть жесткую позицию, самоотверженность и полная отдача, с которой выполнялось любое дело... Все это, конечно, радовало, но Сэйитиро куда больше нравилось видеть, как через месяц, через два на лицах постепенно проступают апатия, тревожность, предчувствие краха иллюзий. Тем не менее сам он верил, что и через три года после прихода в компанию сохранил выделяющую его среди сослуживцев живость, гладкость щек, привлекающую людей молодость, немногословность и не поддавался никакой апатии.

Офис «Ямакава-буссан» находился в сером восьмизэтажном здании с бронзовой табличкой «Главная контора фирмы „Ямакава“». Финансовая группа «Ямакава» во всем предпочитала скромность. Нигде ни следа модернизма, серая бетонная коробка облицована гранитом – это сооружение не вызвало у смотрящих на него людей иллюзий. Оно полностью отражалось в здании напротив – модном, со стенами из стекла. Из-за этой постоянной тени современнейшее здание уже не выглядело столь современным.

После того как в результате слияния трех фирм ранней весной этого года компания «Ямакава-буссан» возродилась к жизни, Сэйитиро, согласно традиции, переехал из офиса в здании N, где провел первые три года своей службы, в главную контору. Весь прежний блеск вернулся. Впервые после переезда входя в это здание, Сэйитиро вспомнил пункты программы, которую ему внушали. Эти лозунги тщательно сохранялись и сейчас.

Запомни: отчаяние воспитывает человека дела.

Ты обязан полностью отказаться от героизма.

Ты обязан беспрекословно подчиняться тому, чем пренебрегаешь. Пренебрегаешь традициями – традициям. Пренебрегаешь общественным мнением – общественному мнению.

Ты обязан ежесекундно и ежечасно быть образцом добродетели.

Сэйитиро каждый месяц участвовал в составлении хайку¹³. Отсутствие поэтического таланта – самый быстрый путь, чтобы завоевать доверие. Он посещал те же собрания общества любителей поэзии, что и его начальник, и воодушевленно писал довольно жалкие стихи, которые редко удостоивались похвалы. Старательно продумывал ежемесячную «дозировку» – ровно семнадцать слогов, не больше и не меньше.

* * *

– Ты вечером ходил с Кёко на Жозефину Бейкер? – сквозь сон услышал Осаму вопрос Хироко.

– Ходил, а что?

Хироко развела в стороны его голые руки и прижала, как на распятии, навалилась на грудь и принялась губами щекотать подмышки. Осаму терпеть не мог щекотку и вопил, корчась. Но никак не мог сбросить горячее женское тело.

– Трус! Дохлак! – обидно обругала его Хироко.

Осаму, смирившись, прикрыл глаза. Тяжесть лежащего сверху женского тела и собственные влажные от слюны подмышки вместе напоминали доносимый издали запах гниющей соломы, и это вызывало неприятное ощущение, похожее на подступающую тошноту. Он постоянно пребывал в ожидании щекотки: так чуткая листва ждет дуновений ветерка.

¹³ *Хайку* – стихотворная форма жанра классической японской поэзии, трехстишие, написанное по схеме пять, семь и пять слогов.

«Хироко назвала меня дохляком. А что, если выступить на сцене голым?! Я был поглощен своим лицом, а про тело как-то не думал... Может, будь у меня на костях больше мяса, мое существование стало бы чуть значительнее. Плоть сама по себе есть способ существования, вес, значит, если вес увеличится, пожалуй, усилится и мое ощущение бытия. Потолстеть? А смогу ли я не превратиться в дрожащее желе? Вот ведь странно: чтобы удостовериться в собственном существовании, остается только постоянно смотреться в зеркало».

Он наконец высвободил руки из рук Хироко и зашарил у изголовья, отыскивая зеркало.
– Что ищешь? Зеркало?

Хироко хорошо знала его привычки. Ее обведенная слабым сиянием приглушенного света лампы рука с накинутым полотенцем протянулась над лицом Осаму. Его обдало запахом подмышек, похожим на аромат гардении. Рука двигалась не для того, чтобы достать для Осаму с циновки карманное зеркальце, а чтобы отбросить его подальше.

– Что-то нет зеркала. Я поищу.

При этих словах Хироко руками крепко сжала щеки Осаму. Они были безволосыми, ее руки давили на гладкую плоть. Губы женщины сначала коснулись блестящей челки.

– Это твои волосы.

Затем белого лба.

– Это твой лоб.

Потом по очереди густых бровей.

– Это твои брови.

Ее губы ползали по тонкой коже век, как муха. Осаму вращал закрытыми глазами, стремясь прогнать эту муху. Горячее дыхание заботливо согревало их, проникая сквозь тонкую кожу.

– Это твои глаза. Ты можешь видеть. Точно можешь, – сказала Хироко Осаму, так и лежавшему с закрытыми глазами.

– Намного лучше, чем в зеркале.

– Это твой нос, – опять начала Хироко.

Он втянул чуть остывшим в холодном ночном воздухе носом запах горячего влажного дыхания, и ему показалось, что такой запах он вдыхал летом где-то на берегу речки.

Осаму, как обессиленный тяжелобольной, не мог даже прогнать ползавшую по лицу муху. Ему было жутко омерзительно, но он знал, что свyksя с подобным отвращением, как та свинья, что средь бела дня купается в грязи. Во что бы то ни стало ему нужно свидетельство зеркала. Но комнату заполнял неподвижно тусклый свет, ногти впустую скользили по циновке: зеркала нигде не было.

Хироко жила в квартире отдельно от мужа, но с Осаму на свиданиях встречалась в районе Сибуя, в гостинице. В первое время Осаму поражала ее открытость в обращении с персоналом – горничными и кассирами. Комнаты располагались в отдалении друг от друга, пруды были очерчены сложными дорожками, глубокой ночью оттуда порой доносились всплески воды – это резвились карпы. В окна сверкали неоновые огни ресторанов близ станции Сибуя, и, несмотря на это, было прямо-таки противоестественно тихо.

Осаму рывком поднялся, надел футболку. Ему хотелось немного побыть одному, и он пошел умыться. Закрыв за спиной дверь ванной и, обратившись к зеркалу под ярким светом ламп, облегченно вздохнул. Тщательно причесал взъерошенные волосы. Довольно жирные волосы, облитые, как лакированная шкатулка, ярким глянцем, опять хорошо легли.

«Противно. Мерзко. Отвратительно. Хочу любить миниатюрную, ненавязчивую девочку с личиком, которое мне нравится», – думал Осаму. Лицо, глядевшее из зеркала, любили разные девочки. После того как с одной из них он переспал, заделал ребенка и бросил, Осаму немало натерпелся в ситуации, которая в глазах других не выглядела постыдной.

Хироко была полненькой смуглой красавицей, хотя черты лица не отличались правильностью: большие глаза с высоко очерченными веками, ровный нос, рот с выступающей нижней губой, хорошей формы уши. Осаму примерно представлял, что она скажет, если он сейчас вернется в постель, но Хироко выбрала: «Я тебе поднаоела. Прости, пожалуйста». В те ночи, что они проводили вместе, она проявляла и обычную ревность, и могла вести себя как полусумасшедшая, но при этом самоуважение и чувства в ней вполне уживались друг с другом. Плюнь она сейчас на него, он ни за что не кинулся бы ее догонять. Их свидания всегда были какими-то судорожными: встречались десять дней подряд и после расставались на два месяца, а то и больше. Впервые он встретился с Хироко в доме Кёко. Осаму по своей лености просто позволил себя выбрать.

Глубокой ночью красивое лицо Осаму четко отражалось в зеркале.

«Здесь я определенно существую», – подумал он. Удлиненный разрез глаз под красиво очерченными бровями, блестящие черные зрачки... Редко где в городе встретишь столь привлекательного юношу. Осаму был полностью доволен: на его безмятежном лице не отразилось и тени недавних поступков.

«Займусь-ка я, как советуют приятели, тяжелой атлетикой. Если меня тронут, то накачанные упругие мышцы доспехами защитят тело. И на лице вес скажется», – размышлял он.

В отличие от лица, мускулы он мог внимательно осмотреть и без зеркала. Руки, грудь, живот, бедра – все убедительно доказывало его существование, постоянный призыв к существованию, поэзию существования – все это он мог наблюдать.

На список распределения ролей в следующей постановке, который вывесили на стене репетиционного зала в театральной студии, Осаму взглянул мельком. На третьем месте с конца стояло «юноша D» – это была его роль. Роль, где он всего лишь немного танцевал в последней сцене в кабаре, роль без слов. По сюжету он должен был, обнаружив, что героиня убита, испугаться и тотчас уйти.

На сцене вовсю шла репетиция. Героиня, которую играла Тода Орико, произносила слова роли:

– Кабаре, где я выступаю, необычное. Там каждый вечер случаются драки на ножах, трагедии, любовные драмы, страсти. Да, любая грубая страсть выше ваших заумных лиц – там должны изливаться подлинная страсть, подлинная ненависть, настоящие слезы, настоящая кровь. Приглашительные билеты на открытую ночь напечатают через пару дней. Приходите. Приходите к нам, достаточно посмотреть одну часть. Вам-то и начало пригодится.

Орико стояла на пыльной сцене перед грязными досками, которые ограждали декорации: без макияжа, волосы убраны под сетку, блузка и брюки не сочетаются по цвету. Режиссер Миура прервал ее:

– Минуточку... Когда вы произносите «настоящая кровь», пройдите несколько шагов в сторону профессора Асами, который в левой части сцены. Будто вы ему угрожаете. И еще я неоднократно говорил: «Приходите» – эти слова чуть настойчивее.

Орико кивнула. Помощник режиссера Кусака, тихо выяснив намерения Миуры, прокричал:

– Повторяем! По тексту с реплики профессора Асами!

«Нелепая пьеса». Осаму, прислонившись к стене, отпускал справедливые замечания, в которых сквозила снедавшая его обида, свойственная молодым актерам. Пьеса действительно была нелепой. Безудержное влечение к хитроумному Жироду¹⁴ пропитало головы драматургов, как вода морскую губку. Сострадающая душа, созданная, чтобы не знать важный, пре-

¹⁴ Жан Жироду (Ипполит-Жан Жироду; 1882–1944) – французский новеллист, крупнейший французский драматург периода между мировыми войнами.

исполненный иронии смысл грез. Драматург испытал в жизни много лишений, но постоянно видел повторяющиеся сны, а потому лишения ничему его не научили. К сожалению, мечты его оказались бессильны одержать верх над жизнью, они были всего лишь крошечным уголком в кладовке, куда трусишка убегает, когда его мучают. Пусть лишения обрушиваются одно за другим, человек, который видит лишь легкие сны, не всегда может прожить легкую жизнь. И все-таки, чтобы восполнить слабые стороны в искусстве, он выпестовал вполне заурядное собственное достоинство, где лишения в прошедшей сквозь него жизни говорили о многом. Так что он вовсе не был обывателем, считался бескорыстным человеком и завел немало молодых почитателей. Фарс такого рода – обычное явление среди людей искусства.

Осаму тем не менее нравился этот драматург – Асама Таро. Причина была проста: Асама когда-то похвалил роль, сыгранную Осаму в учебном театре. И в этот раз назвал его имя и сказал, чтобы ему дали роль, пусть и крошечную. Какой бы глупой ни была написанная им пьеса, однако вывел на сцену столь редкую для современного театра романтическую роль именно он, Асама Таро.

Пьесу, где для тебя нет роли, будь она даже шедевром, ни один актер не полюбит по настоящему! Осаму казались странными воспоминания актеров труппы театра Цукидзидза о том, как их потряс спектакль «На дне» и они решили стать настоящими артистами. Сам он пока не обрел глубокого зрительского сопереживания. Осаму мечтал о способностях, которые позволят ему одному доставлять восторг зрителям, а не о том, чтобы самому впасть в экстаз во время спектакля.

Сцена сделала его жизнь ненадежной, неопределенной. Заключила в мир наполовину реальный, наполовину фантастический, ввергла в сладкое неудовлетворение всем, что наполняло его собственную душу. Стать актером... Это значило отдать свою жизнь людям. Получать выбранные для тебя роли, говорить, что написано, жить навязанными чувствами, пройти от этого стула до той стены – все это он должен был выполнять по желанию других. При этом в личной жизни, свободной, казалось бы, для исполнения желаний, его ничто не прельщало. Существовало лишь несвободное «за тебя выбирают». В конце концов все это становится твоим, как выбранная красивая женщина. С удовольствием проглотить оскорбление в адрес свободы – сколь бы долго это чувство ни дремало – жажда лени не исчезла.

Осаму как-то утром, когда у него пересохло в горле, увидел в газете заметку о самоубийстве в семье. Мать напоила детей двух и шести лет соком с цианистым калием. В глаза Осаму бросился жирный заголовок «Напоила отравленным соком», и крупное «отравленным соком» вызвало ощущение чего-то вкусного. Наверняка этот восхитительный напиток хорошо смочил горло.

Яркого цвета, ароматный, с большим количеством быстродействующего яда, сухим утром поданный нежными руками без всяких просьб с твоей стороны. Питье, которое мгновенно меняет мир. Осаму жаждал именно такого.

Безо всякой определенности отдаться буре, владеющей чужими чувствами, – все прошло и не осталось ничего, но смысл окружающего мира разом изменился. «Сыграть бы Ромео, – с глубоким вздохом подумал Осаму. – Мир до того, как я сыграю Ромео, и мир после уж точно будут разными. Когда я спущусь со сцены, то сойду в мир, в котором прежде не жил».

Тут он обеспокоился: не слишком ли худые его длинные ноги для чулок, которые носит Ромео? Но кожа на почти безволосых ногах с восторгом ощутит холодное прикосновение шелка. Его ноги и после того, как он снимет чулки, останутся ногами юноши, сыгравшего один раз Ромео. И его губы – губами юноши, сыгравшего один раз Ромео. И когда он, пробравшись между всяким хламом, вернется в гримерку, этот хлам предстанет темной грудой прекрасных заколдованных вещей, и городская пыль, осевшая на его обувь по дороге в театр, покажется сверкающими восхитительными каплями. Все изменится. Эту удивительную память об изменении мира он сохранит до глубокой старости.

Осаму мог без устали и сколь угодно долго размышлять о чарах и воодушевлении, которые он обязан ниспослать людям. В наше время мы надолго забыли благородную ярость. Осаму казалось, что именно он тот человек, который сумеет передать ее публике. Только главное слово тут – «казалось».

Это прекрасно, как ветерок, что во время дождя, напоенный запахом мокрых листьев, овеивает лица, увлажняет глаза и щеки. Прекрасно существовать как он. Прекрасно налиться солью так, что больно коже, и прибрежным ветром бить человека в грудь. Очаровывать людей, опьянять их – значит превратиться в ветер.

Осаму мечтал: вот он, облаченный в пышные одежды, возвышается на сцене, подобно богу. Он этого не видит, но в глазах восторженных зрителей предстает дуновением блистающего ветра, вырвавшимся из форм существования. Вот он удивительным образом меняет само представление об устойчивости материального существования тела. Стоять там, говорить там, двигаться там становится музыкой – в нее превратилась радуга, что в дрожании осиных крылышек мелькнула перед глазами. Осаму мечтал – и ничего не делал. Видя в мечтах полное перевоплощение на сцене, блистательный момент прекращения бытия, он цепенел от страха: вдруг оставленные без внимания сомнения в собственном существовании пропадут. Он спал с женщинами ради доказательства истинности бытия. Ведь женщины откликались на его прелестнейшие чары. Но откликалось и еще кое-что. Преданная женщина, неспособная на измену. То было зеркало.

* * *

У отдела оборудования на первом этаже, в котором служил Сэйитиро, было не лучшее в компании помещение. Столы – старые. Книжные шкафы и ящики-сейфы для бумаг – старые. После отмены реквизиции новыми выглядели только перекрашенные стены.

Здание было старым, поэтому и окна тоже были старыми. Вид из окон – такие же окна на другой стороне унылого внутреннего двора. Косые лучи солнца несколько послеполуденных часов позволяли видеть, что там, за стеклами. Но освещали они только белые следы, оставшиеся после снятых со стен картин. Однако противоестественная яркость света иногда позволяла увидеть, как движутся к окну ноги. Верхняя часть оконного стекла была непрозрачной, само окно, как поверхность воды в колодце, едва угадывалось.

Внутренний двор выглядел донельзя уныло. Для зелени тут не было места. Темно-серая крыша подземной бойлерной, лестница в подвал, крышки на двух вентиляционных люках, разбросанный кругом крупный гравий – и ничего больше. Здесь за весь день мог никто не появиться, и мокрый блестящий черный гравий в дождливые дни резко контрастировал с оживленной работой в помещениях. В такие дни эти грубые камни радовали глаз. Начальник их подразделения сочинил несколько бездарных виршей со словом «гравий».

С потолка в идеальном порядке свисали на шнурах флуоресцентные лампы. Шнуры не шевелились: вокруг них все застыло. Пять подразделений отдела оборудования относились к торговой компании, чтобы как следует обеспечить связь между ними, столы стояли вплотную друг другу. Когда Сэйитиро перебрался в это здание, тут было полно тех, кто пришел в компанию раньше него, поэтому его усадили за последний в ряду стол. И все-таки при первом повышении зарплаты после слияния фирм в первой декаде апреля этого года он получил солидную прибавку в три тысячи иен. Основная зарплата – двадцать три тысячи двести иен – стала двадцать шесть тысяч двести иен.

В подразделении Сэйитиро служащие сидели лицом к лицу с девяти утра – времени начала работы – до пяти вечера. Почти все в первой половине дня, едва придя в контору, брали каталоги и сметы и отправлялись по делам. Прежде, как и в любой компании, было принято

писать на доске под своей фамилией, куда человек пошел. Но от этого уже год как отказались – нехорошо, если посещавшие офис клиенты обнаружат на доске имена своих торговых конкурентов. Поэтому, если служащий вышел, пока его лицо при телевизионной трансляции бейсбольного матча не всплывет на зрительских местах, никто и не узнает, куда он направился.

Начальник подразделения был худым, невзрачным, но выдающимся продуктом мелкой буржуазной среды. Он принадлежал к типичным представителям преждевременно состарившихся основателей города, считал вульгарным выражаться громко и разговаривал еле слышно. Сэйитиро не хотел, чтобы начальник знал о его любви к боксу, поэтому и в компании молчал об этом. Заместитель начальника Сэки являл собой полную противоположность: громогласный, открытый, он из-за болезни долго не работал и, соответственно, не продвинулся по службе. Но это не стало для него трагедией: он обрел необычайное жизнелюбие и знал, что его все обожают. Убежденный, что его неизменная улыбка, быть может, как-то досаждала обществу, он гордился такой исключительностью и сделал это основой своей популярности.

Когда Сэйитиро впервые столкнулся с такими противоположностями, как начальник и его заместитель, он долго ломал голову, как понравиться обоим. Естественно, их расположение должно быть равным по силе. Судя по всему, начальник, по мере того как узнавал, что его зам не стесняется в выражениях, лучше понимал: Сэки гордится своими недостатками и выпячивает их, чтобы сохранить свою индивидуальность, но это не мешает ему высоко ценить начальника и людей того же сорта. Сэйитиро же озаботился лишь тем, чтобы дороже продать свою «замечательную приспособляемость». Он не был таким уж спортсменом, но усвоил их особую простоту, которая успокаивает людей, и теперь все считали, что в студенческие годы Сэйитиро достиг успехов в спорте.

За стулом Сэйитиро спинка к спинке стоял стул Саэки. Его стол был самым обычным, а отношение к самому Саэки – непростым. Кое-кто из сослуживцев сторонился его, поэтому Сэйитиро захотел с ним сблизиться. Безразличие, когда мило общаешься с человеком, к которому люди испытывают неприязнь, смягчает настороженность третьих лиц. К тому же Саэки не опасались, а всего лишь относились с предубеждением, поэтому для Сэйитиро роль покровителя оказалась самой подходящей.

Странное дело: хотя для коллег излюбленной темой разговоров сделалась дружба Сэйитиро и Саэки, последний не замечал отчуждения и не испытывал к Сэйитиро какой-то особой благодарности. Себя он считал сложной, очень привлекательной личностью и полагал, что нет ничего странного в том, что вызывает интерес у простых людей вроде Сэйитиро. Как сумасшедший в определенной степени осознает, что он сумасшедший, так и мужчина, которого не любят, знает, что его не любят. Но как сумасшедшего нисколько не волнует собственное безумие, так и равнодушные к нелюбви отличает особую форму нелюбви.

Сэйитиро, вернувшись с прогулки, сел за стол и по привычке выкурил сигарету. Пока никаких дел не было. Посетителей тоже.

Он взглянул на висевшее рядом со столом полотенце и дневник дежурного. Он всегда вешал сюда чистое полотенце. На его свежесть, хотя никто это не обсуждал, естественно, обращали внимание. И должно быть, она многое говорила о нем как о человеке. Итак, полотенце. Оно символизировало пот, молодость, спорт, простодушие, ясное небо, зелень спортивного поля, белую линию трека. Указывало на характерные черты, которых требовало общество, такие как безыдейность молодости, слепая преданность, безвредный боевой дух, юношеская покорность, бьющая через край энергия. Оно давало почувствовать, что общество полезно и сговорчиво.

Со скуки Сэйитиро протянул руку, снял дневник дежурного и, попыхивая сигаретой, прочел свои утренние заметки:

«29-й год Сёва¹⁵, апрель, 21 (среда)

Посещение завода Сумида приборостроительной акционерной компании „Киёта“

Главные лица – президент Киёта, начальник отдела „Ямакава-буссан“

Сопровождающие – инженер Мацунами

Повод – посещают с целью выслушать технические характеристики буровой установки, поставляемой заводом „Осава-дэнко“. Считается, что в настоящее время по техническому состоянию она не уступает импортным образцам. В дальнейшем расширение продаж возьмет на себя наша фирма – это не просто безубыточно, это выгодно».

От соседнего стола прозвучал низкий голос Сэки:

– Послушай, Сугимото, съездишь со мной в два часа в компанию «Тосан»? Сегодня, похоже, все решится с контрактом.

– Хорошо, – коротко ответил Сэйитиро. И снова быстро надел снятый на время синий пиджак.

У Сэки, как обычно, глаза были красные, будто с похмелья. Эта широкая натура увлекалась лекарствами: Сэки постоянно пробовал новые средства от похмелья и головной боли. Пил их, не читая ни про эффективность, ни про способ применения.

Через служебный вход они вышли на ослепляющую светом улицу. Солнечный луч ударил Сэки в глаза, и он чихнул. Словно крошечное ощущение неожиданно свалившегося счастья: глаза потеплели, немолодое лицо сморщилось. Сэйитиро знал о домашних неприятностях зама начальника.

По тому, какой дорогой Сэки шел к станции, Сэйитиро предположил, что есть разговор, предназначенный только для них двоих.

– Я так сразу... Ты вроде намерен жениться? – спросил Сэки.

Сэйитиро ответил медленно и серьезно. Он предчувствовал этот вопрос, поэтому подготовил и ответ:

– Думаю, мне уже пора.

– У тебя есть любимая девушка?

– Нет.

– Так родители кого-то выбрали?

– Нет, отец умер, так что нет.

– Вот как? Ладно. Я ведь просто хотел спросить, есть ли у тебя желание жениться.

– А что, есть кто-то на примете?

– Только прошу, строго между нами. Меня просили устроить брак дочери вице-президента Курасаки.

Сплетники на службе давно разносили эти слухи: вице-президент Курасаки просил их начальника подобрать подходящую кандидатуру, чтобы выдать замуж дочь за подающего надежды служащего из своей компании. Начальник отдела Саката служил под руководством вице-президента, когда тот возглавлял фирму по торговле металлом, поэтому из всех отделов выбрали именно этот.

Сэйитиро, не меняясь в лице, наблюдал, как реагировали на эти слухи сослуживцы-холостяки. В соседнем подразделении был примечательный тип, который в тридцать поставил целью жениться на дочери босса, другие женщины его не привлекали. Такие городские романтики не слишком далеко отстояли от гениальных выходцев из деревни, попадавших в свадебную ловушку дочерей владельцев пансионатов, где они жили, машинисток, девушек из канцелярий.

¹⁵ Сёва – по японскому летосчислению период 1926–1989 годов.

Услышав эти слухи, Сэйитиро сразу поверил, что он подходящая кандидатура. Для женитьбы, рассчитанной не столько на настоящее, сколько на будущее, на перспективу, на способности, на грядущие возможности, не могло быть человека лучше, чем он, который твердо уверовал в конец света. Он, пожалуй, станет рациональным, не претендующим на счастье женихом. Защитить девушку от расчетливых женихов, которые горят желанием сделать карьеру, самому стать ее мужем, только чтобы мужем не сделали другого, объяснить ей счастье жизни с супругом, который верит исключительно в крах будущего... И таким образом в мгновение ока превратиться в объект людской зависти – все это не так уж плохо. Просто так украсть у других их притязания – исключительно доброе дело.

«Я женюсь. Я скоро женюсь» – он так задумал, ничего не ожидая, никого не любя. Незаметно эти слова стали для него призывом, превратились из простого желания в навязчивое. Привычка к соблюдению традиций, хотя в среде одиноких мужчин она хорошо уживалась с идеями всеобщей гибели, поражала Сэйитиро. Навесить на себя ярлык, ничем не отличающийся от других, было недостаточно: он стремился добыть ярлык «женатый мужчина». Он оценивал себя: «Я, как эксцентричный филателист, стремлюсь заполучить не просто редкую марку, а по возможности все, что есть в обращении». Решив, что когда-нибудь в зеркале увидит довольного всем мужа, он с воодушевлением принялся создавать подобный автопортрет.

* * *

Осаму часто просыпался поздно утром. Праздность ему не приедалась. Утренний дождь почти закончился. Об этом сообщала яркость матового оконного стекла. Открыв окно, можно было увидеть лишь крышу соседнего здания и обратную сторону рекламных плакатов на ней.

Летними ночами вытянутое в длину, узкое небо за плакатами отражало лучи софитов, освещавших поздние бейсбольные матчи в парке. Доносились крики болельщиков. Еще там было место, где проходили концерты для широкой публики, и в зависимости от направления ветра в уши вдруг врывается усиленная динамиками музыка Бетховена.

Семья Осаму жила в Токио, но он специально один переехал в пансион в Хонго-Масаготё. Это было в прошлом году, как раз в начале сезона ночных игр. Осаму тщательно скрывал этот адрес. Все-таки жилье не из тех, которым гордятся, вещи можно бросать как попало, и Осаму решил устроить здесь оплот праздности. Он часто ночевал вне дома, но женщин сюда никогда не приводил. Поэтому, несмотря на непутевый, в общем-то, образ жизни, хозяйка пансиона отзывалась о нем хорошо.

Дождь совсем перестал. Осаму протянул из постели руку и включил кофеварку. Это был подарок женщины, но служил он здесь для того, чтоб не спать ночью без женщины. Вскоре комната в разгар майского дня наполнилась ароматом кофе.

Осаму посмотрелся в зеркало, лежавшее у подушки. Там отразилось ничуть не заспанное, подтянутое молодое лицо. Оно было прекрасно.

Мать Осаму, будучи замужем за бездельником, держала в Синдзюку¹⁶ магазинчик женской одежды и аксессуаров. Ее немного тревожило, что в период депрессии дела шли не очень хорошо. Она хотела посоветоваться с сыном, не переделать ли ей магазин в кафе.

Осаму рассеянно пытался проследить сегодняшний день от начала до конца. Границы дня, который не принесет никаких перемен, просто уйдет, виделись с трудом. Он и не стремился разобрать, что там, впереди. Зачем всматриваться? Будущее окутано мраком: всепоглощающая тьма, словно огромный черный зверь, преградила путь взгляду.

¹⁶ Синдзюку – район в Токио, административный центр столичной префектуры со множеством высотных зданий, известных торговых домов, ресторанами и увеселительными кварталами.

Стоя перед спортивным залом N, где они договорились встретиться с бывшим однокурсником, Осаму заметил, что небо на глазах затягивают тучи. Усиливающийся ветер принес тяжелый запах гари, напоминающий запах кофе, выпитого утром и до сих пор стоявшего комом в желудке. Вдруг он почувствовал боль в голове. Поднес туда руку, и тут же раскатились звуки хлестких ударов, словно от бича. Это начался град.

Осаму кинулся под навес у вестибюля. Градины прыгали, отскакивали от дороги. Они сыпались с неба, но как небрежно, как беспорядочно. На мостовой, нагретой в разгар дня под солнцем, крошечные льдинки сразу таяли. Похожие на разбросанные черные зрачки, они, сохраняя форму зрачка, становились уже не градинами, а всего лишь каплями воды.

– Фунаки! – по фамилии окликнули Осаму из-за плеча, он повернулся и увидел Такэи – тот был ниже его ростом.

За несколько лет, что они не виделись, Такэи очень изменился. Закатанные рукава даже морщили, облекая мощные руки. Под рубашкой угадывались бугры плеч. На груди рубашка натянулась, будто сопротивляясь чему-то. Казалось, еще чуть-чуть, и отлетят пуговицы.

– Вот это фигура!

– Пожалуй. – С естественной реакцией в ответ на столь же естественное приветствие, Такэи немного поиграл мышцами на плечах, груди, руках. Это был ответ мускулов. Грудь под рубашкой двигалась так, словно спавшее тело ворочалось в постели. – Любой, если постарается, может создать такое тело. Просто нужны усилия.

У Такэи были черты проповедника восходящей религиозной секты. Когда Осаму, услышав ходившие про него сплетни, позвонил ему, по голосу он определил Такэи как человека, который, прежде чем наброситься на новую еду, слегка пробует ее языком. Окончив университет, Такэи формально устроился на завод отца и заинтересовался тяжелой атлетикой. Он увлекся другой стороной этого вида спорта, где не имели значения спортивные амбиции, прилежно изучил десяток присланных из Америки журналов и стал основателем нового для Японии направления – культуризма. Тогда же Такэи убедил секцию тяжелой атлетики в своей бывшей школе ставить новые спортивные цели. Сейчас он заботился только о развитии мышц. Со временем его тело стало прекрасным олицетворением «евангелия от мускулов».

Град уже прекратился, над головой, когда они переходили проезжую часть, синело небо, тучи почти разошлись. Перед тем как отвести Осаму в зал секции тяжелой атлетики, Такэи сходил с ним в ближайшее кафе, чтобы настроить и прочитать лекцию.

– Японские актеры на сцене особо не обнажаются. В фильмах они в таком виде или слишком худые, или заплывшие жиром, смотреть невозможно. Посмотри американские фильмы или спектакли на библейские сюжеты. Там у всех, вплоть до статистов, подтянутое, мускулистое тело, – начал Такэи. Он смотрел любые фильмы исключительно с точки зрения культуриста. Как сапожник, который смотрит кино ради обуви.

По мнению Такэи выходило, что даже самый талантливый актер без мощной мускулатуры ничего не стоит. Игра такого актера, может, и годится где-то на задворках культуры, но классическую личность, ценность личности как таковой представить на сцене он не может. «Только люди с высокоразвитой мускулатурой способны показать на сцене все человеческие ценности!» Упадок и измельчание интересов происходят оттого, что интеллектуалами считаются личности печальные, слабые, уродливые, бледные, худосочные, плоские, жалкие (Такэи любил прилагательные), старообразные, тусклые, с тонкой бумажной конституцией. Или, наоборот, свиноподобные, пузатые, вялые, спотыкающиеся на каждом шагу, словно прибитые волной, похожие на червей, обросшие жиром людишки. Более того, этим жутким чудовищам отводят место в высших слоях общества. Мускулы и только они – наглядный образец для определения ценности человека. Тем не менее люди об этом забыли, неопределенными критериями замутили моральные, эстетические, общественные ценности.

А все, что ослабляет и подтачивает мускулы, – зло. Мускулы – единственная берущая начало в мифологии, характерная черта мужчины – в наше время оказались самой бессильной частью тела. Трагические образы мужчин – закованный в цепи Прометей, обвитый змеями Лаокоон – с их прекрасной мускулатурой так и стоят перед глазами. Но теперь, когда мускулы ни во что не ставят, загоняют в угол, мужская трагедия стала абстрактной. Куда ни глянь, мужчины ведут карикатурный образ жизни. Истинное мужское достоинство должно жить в приукрашенных трагедией прекрасных мускулах. А на деле его основой сейчас служат никчемные вещи: положение, богатство, способности, костюм от первоклассного портного, булавка для галстука с бриллиантом, дорогая машина последней модели, сигара.

Физическое развитие утрачивает значение в обществе потому, что люди пренебрегают пользой развитой мускулатуры. Само по себе это пренебрежение (печальная, достойная сожаления ситуация) – реальность, которую нельзя отрицать. И повернуть вспять на пути продвижения культурной жизни, где все больший вес обретают идеи ненужности физической силы, так сразу не получится.

Такэи истово верил в силу лимона, поэтому строчки Уитмена продекламировал, запивая лимонадом: «Если что-нибудь священо, то тело людей священо. Слава и сладость мужчины – признак мужественности здоровой. У мужчины, у женщины чистое, сильное, крепкое тело красивой красивейшего лица»¹⁷.

Обычный спорт скорее сохраняет исконную полезность мускулатуры, увеличивает ее по частям, облагораживает для определенных дисциплин. Только в мире спорта еще остались следы давних схваток один на один. Сила всех задействованных в дзюдо сгибающих мышц; поразительная сила, с которой гребцы рассекают воду во время регаты, их спинных мышц, мышц, соединяющих кости плеча и спины, бицепсов, мышц предплечья и бедер. Сила мышц спины и ног у регбистов и футболистов; сила в плечах у дискобола; сила грудных мышц у пловцов... Все это приводит к мгновенным, как вспышка молнии, действиям, однако в радости их осуществить, радости их наблюдать неизменно присутствует слава прошлого, блеск прошлого. В обновлении рекордов мы полагаемся на будущее. Весь спорт сейчас опирается на то, что осталось от физической силы, которая практически исчезла, поэтому времена, когда она поистине блистала, не просто давнее прошлое. Обычный спорт – всего лишь копия потерянной славы, переписанная легенда.

Такэи задумал не кратковременное возрождение физического труда. И не совершенствование изначальной борьбы. С одной стороны, он ставил целью полное восстановление и всестороннее развитие физических способностей. С другой – намеревался очистить культуризм от прагматичного подхода, создать, что называется, «чистые мускулы» (Такэи любил и часто повторял это новое слово), чтобы на этой почве возродить высокую этическую и эстетическую ценность, которые испокон веков заключались в физическом облике человека.

Такэи решительно утверждал:

– Привычным для нас видам спорта нечего вложить в завтрашнюю культуру. Они нацелены в основном на силу, быстроту, высоту и упускают из вида абсолютную ценность мускулатуры как таковой, поэтому не несут полезного культурного заряда. У мускулов рук, например, идеальная форма, чтобы наилучшим образом выполнять работу, для которой они предназначены: поднять вещи, ударить, потянуть, нажать. Несмотря на это, представление о красоте человека вышло далеко за рамки этих функций, приобрело другую, независимую эстетическую и этическую ценность: в противном случае не возникло бы такого понятия, как «греческая скульптура». Поэтому, чтобы приобрести самостоятельную ценность, нужны тренировки не в броске или ударе, на первый взгляд бесполезные. Мускулы необходимо тренировать, имея целью сами мускулы. Конечно, красивое тело греков – это результат воздействия солнечного

¹⁷ Уолт Уитмен. Электрическое тело пою (из цикла «Дети Адама»). перев. М. Зенкевича.

света, ветра, спортивных занятий, меда. Но сейчас природа умерла. Чтобы достичь того поэтического физического совершенства, нужен иной способ: искусственно тренировать мускулы ради них самих, и ничего другого... Стоит подумать о лице. – Такэи показал на свое невзрачное, с выпирающими скулами и узкими глазами лицо. – Дикари обсуждают только его формальную красоту или уродство, функциональность не обсуждается. Чем это помогает духу проходить через ноздри, рту – пережевывать пищу, глазам – видеть, ушам – слышать? Все это, конечно, важно, но второстепенно. Основываясь на минимальных различиях в расположении глаз, носа, рта, люди решают, красива внешность или уродлива и даже насколько духовна личность. Настало время таким же образом взглянуть на мускулы... Конечно, духовность явно пассивна по отношению к функциям глаз, ушей, рта, за активную роль отвечает только выражение чувств, которое зовется мимикой. Ведь человек за долгую историю усвоил жизненную привычку считывать с лица желания и чувства других. В противовес этому мускулы любой части тела наделены действенной, активной ролью, их труд направлен вовне: проявление чувств заметно лишь благодаря не имеющим отношения к чувствам двигательным функциям... Однако это еще не все! Мускулы служат не только для этого. – Такэи опять поиграл мышцами груди под натянувшейся рубашкой. – Надо подумать. Какова ценность чувств, душевного состояния? Почему они считаются тонкими? В человеческом теле мускулы наименее заметны! Чувства и душевное состояние – огонь, воспламеняющий их, некое проявление их существования. Нельзя утверждать, что при малейшем мышечном напряжении эмоции, не обладающие такой уж ценностью, – гнев, слезы, любовь, смех – изобилуют оттенками физического воплощения. Набухание, расслабленность, радость мускулов, их улыбка, деликатный цвет кожи, глубина усталости, на которую указывает небольшая разница в том, как сияет утро и как светит вечер, сверкание капелек пота. Явив свой живой лик, они свидетельствуют о непрерывных изменениях: так перестраивается горная скала, которая из черной угольной шахты превратилась в растительную, лилового цвета громаду, и движение солнечного луча за один день ее целиком преобразило... Стоит посмотреть и на горе страдающих мускулов. Это намного печальнее, чем скорбь, выражаемая чувствами. Услышать стечения сводимых судорогой мышц. Они отчетливее сердечных. А-а, чувства не важны. Душевное состояние – тоже. Невидимые мысли не представляют ценности!.. Мысли, как и мускулы, должны быть наглядными. Куда лучше, когда мускулы выражают мысли, зарытые внутри, во мраке. Дело в том, что мускулы тесно связаны с личностью, они многограннее чувств, похожи на слова, но более отчетливы. Иначе говоря, мускулы – «проводники мысли», затмевающие слова.

Такэи, до сих пор беспрерывно вещавший, вдруг встал и поднял Осаму.

– Ну, пошли. Я буду тобой руководить.

Они пересекли проезжую часть, наполовину скрытую вечерней тенью многоэтажки, и вошли в закопченное, мрачное здание спортивного зала. Помещение секции тяжелой атлетики приняло их неласково. Пыльная бетонная комната походила на тюремную камеру, из-за плохо пригнанных раздвижных стен доносились тихие стоны, страшное натужное дыхание, вздохи, восхищенные вскрики. Когда раздвинули перегородку, в нос Осаму ударил тяжелый запах пойманного зверя. Запах пота и ржавого железа. Увиденное напомнило Осаму пыточную камеру.

Древние каменоломни, тяжкий труд молодых рабов.

В свете ассоциаций с Древним Римом это помещение никак не походило на спортивный клуб. Молодые люди с усилием раскручивали мощные спины, захватывали зубами тяжести, вызывали дрожь бедер. Полная тишина, ни вскриков, ни окликов, только молодая плоть – страдающая, напряженная, в каплях пота, с толкающейся в жилах кровью.

Тренировка по тяжелой атлетике на сегодня закончилась. Занимались только младшие члены секты Такэи. Один привязал ноги к поднятому концу наклоненной доски и, откинувшись на спину, поднимал и опускал тяжелую штангу. Другой приседал с гирями. Третий, лежа на скамейке, поднимал такую же тяжелую штангу над грудью. Кто-то садился и вставал с желез-

ным грузом на плечах. Кто-то, наблюдая, как вздуваются руки, поднимал до плеч и опускал утяжеленные съемными железными дисками гантели. Кто-то, наклонившись и расставив ноги, опускал до самого пола тяжелую штангу, затем снова, напрягая локти, поднимал ее на грудь. Осаму все это казалось чудовищным, в чем-то ужасным, в чем-то карикатурным. И выглядело так, словно каждый молча отбывает возложенное на него наказание.

Однако в этой каторжной работе было что-то привлекательное. Полуобнаженные молодые рабы, все как один были озабочены мрачной тайной плоти, которую не могли постичь. И потолок, где в вечернее время не горел свет, и пыльный пол, и старые железные снаряды – все было мрачным, сияли только мускулы. Присмотревшись, можно было заметить, что мышцы каждой части тела чрезвычайно чувствительны. Осаму никогда еще не видел столь чувствительных мышц. Один из юношей наклонился – и сразу же на боку отчетливо выступили мускулы, подобные узлам веревки. Даже у тех, кто ничего не делал и стоял спокойно, отдыхал, временами в теле, как отклик, от мышцы к мышце пробегала быстрая волна, будто в гнев вздымались мускулы рук. Осаму решил: то, что говорил Такэи, очень правильно.

– Прежде всего разденься до пояса. Я посмотрю на твое тело, – надменно произнес Такэи, который был ниже ростом.

В таком окружении застесняешься своего худого тела. Но Такэи потянул полуобнаженного Осаму за руку и подвел его к зеркалу. В зеркале отразилось то, что Осаму не хотелось бы видеть. Выпирающие ребра не так явно, но все-таки угадывались.

– Смотри, – произнес Такэи. – У тебя плотные кости, поэтому сейчас беспокоиться не о чем. В нынешнем состоянии? В нынешнем состоянии ничего не нужно, ты ведь так думаешь. Тут ясно выражена твоя долгая, полная излишеств жизнь. Кожа не блестит, как должно быть в твоём возрасте, нет подобающей молодости энергии, ты бледноват, бессилён, в общем, желеобразен, как тофу.

Несколько учеников Такэи, услышав комментарии, со смехом окружили Осаму. По сравнению с их мощными торсами его обнаженное тело выглядело намного стройнее, белее и слабее.

– Нет, не желе. Скорее жалкий, худосочный общипанный цыпленок, – продолжал критиковать разошедшийся Такэи. – Мускулы, знаешь ли, как и другие органы, атрофируются при отсутствии нагрузки. Посмотрим на твою трапециевидную мышцу. Она тут, в округлости плеч. Сравним ее с такими же мышцами у парней. Ты до сих пор вел жизнь без силовых нагрузок, поэтому на плечах выступают кости. Слабые и вялые трапециевидные мышцы только намечены.

На самом деле Осаму только теперь был вынужден поверить, что физически не обладает ничем сопоставимым с красотой его породистого лица. Его тело не развито, далеко от совершенства и свидетельствует о том, что мужчина без достаточно мощной конституции не блещет элегантностью. Его тонкие руки бессильно свисают с плеч, в пальцах нет силы. «Я хочу лицо поэта и тело тореадора», – пылко подумал Осама. Он знал, что ему не хватает простоты, резкости, дикости. Воистину, лирические герои рождаются лишь из редкого сочетания лица поэта и тела тореадора.

– Сегодня – первая тренировка, займешься легкими снарядами, хватит по два подхода. Вначале тяга штанги к подбородку – два подхода. Следом подъем штанги на бицепс – два подхода. Жим штанги из-за головы – два подхода. Жим штанги лежа на спине – два подхода. Жим к поясу – два подхода. Глубокие приседания со штангой на плечах – два подхода.

Такэи велел Осаму надеть тренировочный костюм. Осама переоделся. Ему было очень стыдно: пронизывающий воздух непривычного места колот кожу, и он не верил, что его привыкшее к долгой праздности тело согласится идти к определенной цели. Он ощущал себя слабым маленьким животным, которое пугается в ожидании удара. Маленьким животным, которое разлучили с влажной соломенной подстилкой, с собственным запахом, оно еще не проснулось,

а его уже принуждают работать. Осаму почувствовал, с каким трудом тянется к собственному существованию. В полутьме на бетонном полу маленькие серые гантели для начинающих перекачивались, как пара колес, потерявших в тени от склада гравия, окруженного летней травой, кузов своего автомобиля.

Осаму взял гантели в руки, поднял к груди. Они оказались легче, чем ему представлялось.

Мать красилась кричаще. Она управляла всего лишь крошечным магазинчиком одежды и аксессуаров, но Осаму из-за такой косметики нравилось представлять ее единоличной владелицей какого-нибудь сомнительного торгового предприятия.

Осаму любил слушать, как мать, преувеличивая, рассказывает о своих несчастьях. Она хриплым голосом перекраивала свою жизнь в невероятную трагедию, расцвеченную яркими афишками наподобие тех, что висят на кинотеатре в Асакусе¹⁸.

– Сегодня немного позанимался спортом, – сообщил Осаму. Мать следила взглядом за голубоватой струйкой от сигареты, которую курила: ее в равной степени интересовал дым и тема разговора.

– Что?! Вот редкость-то, ты – и вдруг спорт.

– Хочу хорошее тело.

– Зачем это? А-а, сейчас это нравится девушкам, так ведь?

Осаму не оставляло возбуждение: странно смешались ощущение свежести после пролитого пота и напряженной силы во всем подвергнутом нагрузкам теле. Поэтому он, чего никогда не делал, посмотрел на мать сверху вниз. Сегодня она казалась ему очень маленькой. В костюме, который ей совсем не шел, со спрятанными под толстым слоем алой помады морщинами на губах, затянутая, как в корсет, в свои воображаемые страдания.

– Отец, похоже, опять увлекся неподходящей женщиной.

– С чего ты взяла, что неподходящей?

– За отца вечно цепляются такие.

– Точно! – Осаму рассмеялся.

К его невзрачному, жалкому отцу вечно, как чесотка, липли женщины.

Вечером людские толпы потекли по городу. Магазин матери примостился на улице с многочисленными закусочными и кафе, явно неподходящей для торговли. Разве что наблюдать из магазина ради забавы за проходящими мимо людьми. На полочке с безделушками беспорядочно были свалены цепочки, броши, браслеты, серьги, носовые платки, перчатки. После того как кафе напротив расцвели яркими неоновыми огнями, мать стала жаловаться, что товары в отраженном свете меняют цвет. В любом случае на этот магазин, как и на другие, пребывающие сейчас в застое, легла густая тень депрессии, и сколько его ни освещай, едва заметный мрачный налет все больше и больше отдалял клиентов.

Удивительно, но две молодые девушки, по виду – служащие, остановились перед полкой с аксессуарами.

– Да не станете вы ничего покупать, – раздался из глубины магазина голос матери.

Высказалась она слишком убежденно и мгновенно примирилась с этим, даже не стараясь заинтересовать посетителей покупками. Как цыганка, она сидела в недрах магазина, гадала, смотрела оттуда на клиента и, кажется, была совершенно довольна, когда ее предсказание сбывалось. Взгляды девушек, небогато, но опрятно одетых, привлекла одна из цепочек. Довольно дорогая.

– Да таким, как вы, ее нипочем не купить, – опять тихо сказала мать.

¹⁸ Асакуса – квартал в Токио, один из крупных развлекательных центров, изобилует ресторанами, театрами, сувенирными лавками.

Понятно, что в женских глазах желанная вещь постепенно обретает все больший блеск, захватывает мысли. Это уже не просто какая-то цепочка. Мечта всей жизни, картина абсолютной гармонии, романтическое сопротивление бедному кошельку... Более того, это – сумма усилий, сравнимая с желанием покончить жизнь самоубийством.

Однако сейчас из женских глаз что-то пропало. Желание рассеялось, взгляд стал мягким, просительным. Она примирилась с вещью, которая до сих пор казалась ей врагом. Другими словами, решила: «Не куплю, так просто посмотрю». На лицо с ярко накрашенными губами и проступившей после рабочего дня усталостью лег отблеск помпезных неоновых огней, украшавших кафе на противоположной стороне.

Осаму непроизвольно шагнул вперед. Девушки, которые собрались уходить, посмотрели на него. Женские глаза моргнули, взгляд стал пристальным. «Как тогда, когда они рассматривали цепочку. Теперь я вместо цепочки», – подумал Осаму. Девушки развернулись и опять пошли по магазину, делая вид, что интересуются другими товарами, но их глаза упорно возвращались к лицу Осаму.

– Добро пожаловать, – произнес Осаму. Девушки почти одновременно заулыбались.

– В конце концов девчонки промотали жалованье, – удовлетворенно сказал Осаму, глядя на кассовый аппарат, где обозначилась цена проданной цепочки.

– Что это тебе сказали барышни, пока я заворачивала покупку?

– Будут ждать в кафе напротив. Таковы все женщины. Сразу хватают быка за рога.

– Работал бы тут продавцом, магазин бы процветал, не надо было бы переделывать в кафе.

– Да ну, кто пойдет в такой магазин.

– Работать с девушками, которые в тебя сразу влюбляются... Не может быть, чтобы мужчину это не интересовало.

Мать любила вести с ним аморальные беседы. Ей чудилось, что распущенность сына повторяет распущенность отца. Во всяком случае, так она понимала материнский долг. Аморальные разговоры переросли в жалобы, потом она показала Осаму план перестройки магазина и каталоги.

– А деньги? – спросил Осаму.

Мать ответила, что можно занять.

Они поразмышляли над проблемой денег, потом какое-то время в растерянности молчали. В молчании таилась некая опасность. Она, как воздушный шар, непрерывно кружила над головой. У матери это заключалось в мыслях о том, где взять клиентов, у Осаму – в распределении ролей. Оба думали, как исцелиться от беспокойства, которое они обычно легко отбрасывали. Будущее казалось особенно мрачным, тем не менее бессилие и лень отчасти привели мать в игривое настроение.

– Иди уже скорей, девчонки ждут. – Мать привычным жестом выгоняла Осаму. Она любила сына, но, когда они много времени проводили вместе, видела в нем отражение собственных тревог, и это было неприятно.

– Да ладно, я их подразню.

Осаму причесался перед зеркалом, висевшим над полкой с украшениями. Подсвечивающая снизу лампа подчеркивала белизну крыльев скульптурной формы носа.

Мать молча сунула ему в карман только что вырученные деньги:

– Это ведь ты заработал.

Осаму, уставившись в зеркало, даже не поблагодарил. Если и мать витает в облаках, и сын фантазер, то в трагедии матери и сына есть что-то нереальное. К тому же Осаму был актером. Он повел себя как непослушный, распущенный сын: повернулся и, ловко скользнув между полок, вышел из магазина.

* * *

Сэйитиро не так уж любил выпить. Он быстро пьянел. Опынев, он впадал в странную тревогу и прятался. Единственным местом, где для него было не важно, что его увидят в таком состоянии, был дом Кёко.

Сегодня вечером он не выпивал. И перед ним распахнула свой зев ночь одиночества. В такие времена он спешил купить женщину и шагал по улицам еще более одинокий, чем раньше.

Тучи затянули небо, стояла теплая майская ночь. Свет фонарей расплывался в усталых глазах. Сощуришь глаза, и город плавится. Растаяли и тени прохожих, и силуэты машин. Улица казалась созданной из влажного плавкого материала.

В офисе Сэйитиро пребывал посреди вечно неизменной, прочной материи. Шагая в одиночестве по улицам, он ощущал, что движется по опасному миру, сотворенному из блестящей фольги на каркасе из хрупкого тончайшего стекла. Но именно этот мир был ему близок. Тут многочисленные кричащие вывески и неоновая реклама соперничали в верности законам ложной красоты. На одной неоновом щите тремя красными иероглифами в старом стиле всплывало сочетание «бессонный город», однако ночь окутала надпись, покушаясь даже на узкие щели между черточками. Сэйитиро подумал, что хотел бы стать неоновой рекламой. Тогда его служение обману обретет заверченный вид. Его бесцельный стоицизм – не жить ради собственных правил – при таком превращении станет неприметной, каждодневной, естественной привычкой.

Он думал: «Я хотел бы стать осадком от пива на дне одной из многочисленных пустых банок с давно высохшей пеной, горой сваленных на задворках бара. Горой, тайно вздрагивающей всякий раз, когда мимо на большой скорости проносится автомобиль. Завтра не будет. Хотя от пива в банке пусть чуть-чуть, но осталось, эта банка, несомненно, „выпита“».

Хочу стать генералом! Политиком! Великим изобретателем! Великим гуманистом! Крупным бизнесменом! Нигде, ни в одном уголке его памяти детства не отыщешь такого рода желаний. Он не хотел, как другие дети, стать кондуктором, солдатом или пожарным. На взгляд со стороны это был обычный, живой мальчишка, но его душа была словно изъедена тем, что он совсем не ощущал своего присутствия в этом мире.

На углу переулочка, где толпился народ, оказался большой зал игровых автоматов – патинок: это было понятно еще издали по сдержанному металлическому шуму. В чередующихся колокольчиками и скатывающихся металлических шариков, в отличие от звуков, издаваемых просто аппаратами, нашлось место для человеческих чувств: досада, легкое удовлетворение, крошечная радость вырывались вместе со звоном падавших шариков на шумную улицу, и на них, как на гальку, наступали люди.

Сэйитиро остановился у входа и заглянул в помещение. Там в ряд выстроились людские профили без улыбок и было светло, как в раю.

Лестница на второй этаж. Над ней неоновая реклама «Центр развлечений», чем выше поднимаешься, тем слышнее металлический звук моторов и рев сирен.

Привлеченный звуками, Сэйитиро поднялся по лестнице. На втором этаже в бывшем тире стояли разные игровые автоматы, списанные и затем проданные оккупационной армией. У самого входа можно было, как когда-то давным-давно, половить сачком золотую рыбку или подцепить на удочку карпа. Золотые рыбки, которым вскоре предстояло попасться, сновали, окруженные шумом зала, в тесном деревянном ящике с водой.

Пулемет, мотоцикл, субмарина, зенитка, легковой автомобиль, грузовик, хоккей: двести иен за один раз на любом автомате. В этих развлечениях за двести иен было открытое презрение к энергии, накопленной в обществе. Это презрение казалось слаще любых конфет, льстило сердцу неудачников, они спокойно воспринимали такие вещи и жадно их проглатывали.

Сэйитиро искал свободный автомат, какой угодно. Пристроиться к одному и вернуть хотя бы крошечную близость с собой.

Свободным был легковой автомобиль. Сэйитиро отдал женщине, высунувшейся из-за аппарата, двести иен, опустил на стул перед стеклянным ящиком и положил руки на большой руль, закрепленный с наружной стороны.

В ящике загорелся свет. Появилось скоростное шоссе, освещенное слепящим летним солнцем. Изображенная в перспективе трасса вела, по-видимому, к вершине холма. За холмом раскинулось нарисованное голубое небо с летящими по нему обрывками облаков. Справа и слева от дороги в мельчайших деталях выписаны трава и цветы, на пастбище за изгородью отдыхали коровы. Такой пейзаж понравится любому. В этом вполне заурядном, жизнерадостном, поэтическом мире не хватало человека. Прекрасное воскресенье в стеклянном ящике.

По шоссе мчится красный открытый автомобиль. Перспектива зовет вперед и вперед. Если так, машина может нормально ехать по дороге. Однако тут же картинка, беспорядочно двигаясь влево и вправо, поворачивает, автомобиль того и гляди сползет с шоссе. Сэйитиро, быстро вращая руль, стремится удержать машину. Она вдруг сходит с дороги и мотается там, где изображены обрыв и речушка. Изредка, пока машина едет по трассе, с внешней стороны ящика высвечивается красным надпись по-английски «на дороге», а внутри, на синем небе, кричащим цветом одна за другой зажигаются цифры-очки – 500, 1000, 2000...

Красные, желтые, лиловые цифры на фоне голубого неба сияли так отчетливо, казалось, когда они исчезнут, синева утратит прежнюю яркость. Цифры усиливали его поэтичность. Сверкая, ударили в глаза жирные цифры 2000, 3000, и синее небо стало опять просто синим.

Время истекло, картинка двигалась все медленнее и постепенно застыла. Как и в начале, холм, к которому вело скоростное шоссе, принял форму выполненной из жести, незнакомой линии горизонта, и все остановилось.

Выглянула женщина и, не сказав ни слова, положила перед Сэйитиро два леденца в пыльной воощенной обертке.

Свет в ящике погас. В стекле отразились лица: несколько человек наблюдали, как Сэйитиро вел автомобиль. И среди них было улыбающееся лицо Осаму.

– А, это ты? – Сэйитиро поднялся со стула и положил руку ему на плечо.

– Плохой ты игрок. Нужно, чтобы выпало больше пяти тысяч очков, – заметил Осаму.

Другой посетитель уже уселся на стул и схватился за руль, поэтому они посторонились. Их разговор то и дело прерывал грохот зенитных орудий. Четыре зенитки располагались по углам внутри стеклянного ящика. Каждый раз при прямом попадании в самолет – вокруг центрального столба их кружило два – на крыльях самолета нервно мигали красные огоньки.

– Куда теперь пойдем? – спросил Сэйитиро.

– С девчонками, которых подцепил, жутко скучно, я как раз высказал им это. Придумал. Пойдем к Кёко. Как раз и попутчик нашелся.

* * *

В отличие от изменений, которые понемногу происходили в жизни собиравшихся здесь молодых людей, Кёко неизменно вела ту же, с теми же перепадами, в тех же повторениях жизнь. Если считать молодых людей функцией, то Кёко, можно сказать, была константой. На первый взгляд, она воплощала постоянство. Дом Кёко, когда бы вы туда ни пришли, всегда был домом Кёко. Молодым людям, где бы они ни находились и что бы ни делали, легко было вообразить, как в сумерках там зажигается свет и Кёко в вечернем платье советуется с ними, куда пойти развлечься. Или, уже вернувшись из увеселительных мест, достает вино, чтобы продолжить кутить.

Как бы далеко от города они ни находились, сознание того, что там дом Кёко, успокаивало посещавших его юношей, делало весь город дружелюбнее. Днем и ночью там вращалась мельница аморальных разговоров, допускалось любое вероломство в отношениях. Страдания, нежные вздохи, доверие, клятвы, стыд, сердечный трепет и вместе с тем ложь, подлость, мошенничество, наглые домогательства к женщинам, советы по аборту – все ценилось в равной степени. Было радостно сознавать, что где-то в мире есть такое место. Здесь не было запретных тем, поэтому страдальца от безответной любви или соблазнителя милой девчушки утешали одинаково. Женщина до мозга костей, Кёко хорошо знала унижение и страдание обиженных, принимала в них участие, сочувствовала им.

Кёко, собираясь жить так, как ей нравится, знала, что в какой-то момент само ее существование будет нужно гостям, и все больше подстраивала окружавших ее людей под себя. Временами ее заблуждения насчет себя доходили до крайности: она даже предавалась нелепым фантазиям. «Я точно наделена великой материнской любовью».

На самом деле Кёко не пугала монотонность жизни. Иногда человек попытается дать себе волю, но в последний момент обнаруживает, что должен быть изобретательным, неповторимым, а кризис неповторимости приводит к ее гибели. У Кёко подобный кризис не возник. Она могла спокойно прожить без малейшего намека на неповторимость. Многие мужчины несли в этот дом порок, поэтому не было необходимости что-то изобретать.

Кёко знать не знала, что такое бессонница! Когда уходил последний гость, оказывалось, что бесконечные беседы о сексе – прекрасное снотворное. Исполненная удовлетворения – «меня ничто не волнует, я объективна», – она гасила свет у изголовья, опускала голову на подушку и сразу засыпала здоровым сном.

Этим вечером к Кёко приехали Хироко и Тамико. Женщины болтали без умолку. Позвонили и сообщили, что направляются сюда, Осаму и Сэйитиро. Все знали друг друга вдоль и поперек, но известие, что придут эти двое, взбодрило присутствующих. Тамико, дочь магната Омори Санно, из «интереса» работала в баре. Это была своеобразная работа: захотела прийти – придет, захотела отдохнуть – не придет. Тамико была глуповата. До смешного добродушная, все сказанное она принимала за чистую монету, но благодаря странной особености человеческой морали не сталкивалась с настоящим обманом. Никто ее не надувал. Если бы мужчина, знавший наперед о беспримечной легковёрности Тамико, решил непременно ее обмануть, то сразу потерял бы к ней интерес. Из-за этой своей доверчивости она, в отличие от женщин, вечно подозревавших мужчин, и потому, что мужчины ее не обманывали, обладала еще одним преимуществом – не нуждалась в покровителе.

Тамико дружила со всеми. И с министром, и со сборщиком заказов из овощной лавки. Даже с европейцами. Она была абсолютной пацифисткой и считала, что люди вполне могли бы взяться за руки и устроить хоровод вокруг земного шара. Она была щедрой, но также любила получать подарки. И не понимала, какая разница, дарят ли тебе вещь или наличные деньги.

Непостоянство Тамико в отношениях с мужчинами просто ужасало. Будь партнеру шестьдесят лет или шестнадцать, она в каждом находила что-то привлекательное. Ее любимым выражением было: «Плохих людей нет». Это стало постоянной темой их споров с Хироко. Последней нравились исключительно молодые мужчины, у нее было собственное мнение о том, что может привлекать в молодом человеке. Прическа, глаза, рубашка, грудь, заметная благодаря паре расстегнутых на рубашке пуговиц, речь, носки, линия плеч при склоненной голове.

Тамико, по большому счету, это все не волновало.

Кёко же нравилось другое. Она коллекционировала не столько привлекательность, сколько реальные ситуации, а привлекательности ей вполне хватало своей. Даже в фантазиях у нее был особый вкус, она предпочитала воображать фантастический ад разврата со случайным мужчиной. В места, куда лучше поехать на машине, нарочно ехала на электричке, но все-

таки боялась переполненных поездов и выбирала такое время, когда вагоны были относительно свободны.

В передней раздался звонок.

– Пришли! – разом закричали Хироко и Тамико. Потом быстренько договорились не показывать, как они тут истомились в ожидании.

Осаму и Сэйитиро спокойно, как к себе домой, вошли в комнату. Сэйитиро, вдохнув смешанный аромат духов – каждая надушилась своими любимыми, – недовольно произнес:

– Фу, человеческой воняет, – и опустил на свободный стул перед камином.

Кёко понравилось приветствие Сэйитиро, где нашлось место для «человечины». И она, объятая духом наивного соперничества, спросила:

– Из нас троих с кого начнешь есть?

Но сейчас Сэйитиро не был голоден.

– Ты, говорят, женишься, – сказала Хироко. Она говорила об этом как о чем-то непристойном.

– Я понравился ее отцу. Приветливый молодой человек, подаю надежды.

Женщины принялись жестко критиковать такого отца, который совсем не понимал, кто перед ним. Все хотели услышать мельчайшие подробности о предполагаемой невесте, но Сэйитиро молчал. Это еще не точно, и он не обязан рассказывать.

Вице-президент пригласил его на обед. Они встретились в Токё-кайкан, в темном гриль-баре «Россини». Среди тем, принятых в обеденных беседах директоров из окрестностей Маруноути¹⁹, ему вежливо задали несколько вопросов. В общем, он понравился. Произвести впечатление молчаливого, глубокомысленного, да еще приветливого человека – это он умел. Он хорошо разбирался в том, как расположить людей к себе, и интуитивно понял, что кратчайший путь познания общества не в изучении других, а в самопознании. Способ был женский. Однако современное общество не требовало мужских поступков.

Осаму, придя к Кёко, почувствовал, как постепенно усиливается боль. Долго не работавшие мышцы постанывали, заявляли об усталости. Завтра утром тело будет кричать от боли. Это тревожное ощущение было до странности новым и даже приятным. Он чувствовал в теле ростки брошенных в землю семян. Мускулы, на которые он до сих пор не обращал внимания, проснулись и пришли в действие. Его внутренние пласты явно накладывались на душу и плоть. Ему казалось, что он понемногу вычерпывает душу и заменяет ее мускулами. Когда-то душа будет вычерпана до дна и превратится в мышечную массу. И он станет человеком, полностью завершенным снаружи и целиком направленным вовне. Станет человеком без души, с одними мускулами.

Осаму, привычно развалившись в кресле, мечтал, что здесь когда-нибудь будет сидеть мужчина, состоящий, как тореадор, сплошь из мускулов.

«Именно тогда я полностью обрету существование. Таким образом, неопределенность существования человека, который, как я, сейчас размышляет об этом, уже не будет сводиться ни к отражению, ни к форме».

– О чем думаешь? – вдруг потрясла его за колено Хироко.

Она никогда не разрешала ему витать в облаках. Понимала это по-своему и, навязывая личное мнение, считала, что ее метод лечения помогает.

– Понятно. В этом весь ты: думаешь о том, что час назад где-то в закоулке какая-то девчонка загляделась на твое личико. И воображаешь, какой бы после этого развернулся роман. Наскучили эти фантазии, все они одинаковы. Твои глаза видят только знакомые вещи.

¹⁹ *Маруноути* – крупнейший деловой квартал Токио, находится рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Последние десятилетия развивается и как фешенебельный торговый район.

Осаму, не отвечая, слегка скривился. Ему нравилось, когда люди всячески, на ощупь, анализировали его поведение, хотя разброс попаданий был в пределах от одного до десяти. И когда ошибались на его счет, тоже любил. Это был неизвестный ему самому портрет, и он определенно существовал.

Кёко терпеть не могла догадок и предположений. В этом доме все должны были стать честнее, освободиться от сомнений, ревности, стыда. Свистки к отправлению поезда, пронзавшие ночной воздух и слышные через распахнутое окно, настроили ее на мысли о путешествиях.

– Не отправиться ли нам в путешествие? Опять всем вместе?

Общий шепот – не за и не против, – но никто так и не ответил. И только отзвуки горячего, влажного голоса Кёко еще некоторое время витали в комнате.

– В саду кто-то ходит, – произнесла Тамико. Несомненно, с самыми благими намерениями, но выглядело это несерьезно.

Чуть позже об этом сказала Хироко. На этот раз слышалось вроде бы со стороны газона, но никто не поверил.

В конце концов Кёко поднялась на ноги:

– Точно, сейчас и мне слышно. Под балконом ходит человек... Остановился. Спрятался.

Все переглянулись. Осаму безразлично, Сэйитиро с таким видом, словно просить его о помощи бесполезно. Затворившись в своей крепости, три женщины с интересом наблюдали, как мужчин охватывает тревога. Она удивляла, как неподходящая одежда, неподходящая шляпа.

На балконе ничего не видно. Над рощей вокруг храма Мэйдзи сиял молодой месяц. Тускло поблескивал на шесте бумажный карп, которого в одном из домов в низине забыли убрать после праздника. Легкий ветерок не мог заставить его плыть по воздуху, а только чуть закручивал туловище, отдавая от шеста один хвост.

Сидевшая у распахнутого французского окна Тамико вдруг с криком вскочила. Стеклопанная створка с шумом захлопнулась. Черная тень с воплем влетела с балкона и застыла в центре комнаты. Это оказался Сюнкити в черной рубашке и черных брюках – он стоял под люстрой и хохотал. И выглядел сейчас невероятно высоким.

Сюнкити все еще смеялся. Сэйитиро подумал, что смех неуместен. Сегодня вечером среди гостей больше всего был доволен собой Сюнкити.

За такую шутку женщины напустились на Сюнкити с упреками, а затем с балкона появился Нацуо. Он повторил розыгрыш Сюнкити, но ему яркий выход на сцену не удался. Однако смущение, с которым он счищал с пиджака землю, наоборот, всех несказанно обрадовало.

Некоторое время все оживленно делились признаниями о перенесенном испуге. Потом Сюнкити сообщил, как неожиданно встретился с Нацуо в городе и они решили прийти сюда: Сэйитиро и Осаму поразило, что нынешний вечер оказался вечером случайностей.

Тут открылась дверь гостиной и появилась Масако в пижаме и с огромной куклой в руках. Выглядела она очень мило.

– Жуткий шум, – заявила она строго. – Я даже проснулась.

После такого заявления Кёко потеряла всякую надежду снова отправить Масако в постель. Та детской походкой, подражая зайчику из пьесы для детей, запрыгала к Нацуо.

Все радовались, что через месяц опять соберутся в том же составе. Сюнкити рассказывал Сэйитиро, что каждый день с утра до вечера усиленно тренируется в преддверии боя по круговой системе. Потом он переключился на Тамико: выдавал прогнозы на бой Сирай – Эспиноса, который состоится двадцать четвертого числа в этом месяце. Сирай хоть и с трудом,

но, пожалуй, сохранит чемпионский титул. Только в этом матче не будет блеска, присущего матчам на звание чемпиона.

Тамико, которая не виделась с ним после той совместной поездки, не заметила на лице Сюнкити и следа воспоминаний о проведенной в Хаконэ ночи. Поэтому, невольно состязаясь с ним в безразличии, доброжелательно выдала колкость:

– И почему женщинам запрещают заниматься боксом!

Появилась выпивка. Не пил один Сюнкити. Разговоры как-то обошли женщин и сосредоточились на четырех юношах, которые были давно знакомы. Только Нацуо был сдержан и ничего о себе не рассказывал.

– Собственно говоря, что у нас общего? – спросил Сэйитиро, приглашая Кёко к разговору.

– Может, то, что никто не хочет стать счастливым.

– Не искать счастья... Какие-то изношенные сентиментальные взгляды, – возразил Сэйитиро.

– А нам все равно, мы не боимся, что счастье, как мох, облепит тело. Просто смешно, человек делается счастливым по самым ничтожным причинам. Героизм парней, избегавших счастья, как проказы, всего лишь слабый, жалкий пережиток аристократизма. У нас от всего есть прививка, хочется думать, что и от счастья.

Кёко эта речь огорчила, и она, ничего не ответив, вернулась к темам, которые обсуждали женщины.

Но четверо, все четверо, не говоря, не высказывая это, чувствовали: «Мы, все четверо, стоим перед стеной».

Непонятно, была ли это стена времени или стена общества. Во всяком случае, она рухнула еще в их отрочестве. И в ясном свете во все стороны тянулись груды мусора. Солнце на линии горизонта всходило и заходило за горами отходов. Ежедневный восход, заставлявший блестеть осколки стекла, превращал разбросанные кусочки в нечто прекрасное. Тот бесконечно свободный, безгранично радостный период отрочества, когда верилось, что мир состоит из мусора и осколков, безвозвратно исчез. Сейчас очевидно лишь одно: вот огромная стена, и они стоят, уткнувшись в нее носами.

«Я разобью эту стену», – думал, сжимая кулаки, Сюнкити.

«Я, пожалуй, заменю эту стену зеркалом», – лениво размышлял Осаму.

«Я, наверное, нарисую эту стену. Заменить бы ее на фреску с пейзажем и цветами», – страстно мечтал Нацуо.

А Сэйитиро решил так: «Я стану этой стеной. Я сам обернусь этой стеной».

Каждый в молчании пережил свое настроение, а затем они вновь превратились в пылких молодых людей. Сэйитиро, сам из таких, любил обсуждать молодежь.

– Да, ведь мы специально встретились. – Сэйитиро вдруг что-то пришло в голову. – Теперь при каждой нашей встрече через сколько-нибудь лет давайте будем обо всем говорить откровенно, ничего не скрывая. Тут важно идти своим путем. А потому не следует помогать друг другу. Ведь даже незначительная помощь есть пренебрежение к конкретной судьбе. Создадим союз тех, кто не помогает друг другу, в какую бы беду человек ни попал. Этот союз возникнет впервые в истории, единственный в своем роде, вечно неизменный союз. Все объединения, существовавшие ранее, были бесполезны, превращались просто в рваную бумагу – это подтверждает история.

– А женщине можно вступить в ваш союз? – встряла Хироко, которой надоели женские разговоры.

– Ты уже вступила.

– Вот как?! Уже принята. Необходимым условием для заключения союза с женщиной является правило «запрещено спать с ней». Получается, только ты не спишь ни с кем из присутствующих здесь женщин.

– Мне нравятся лишь проститутки. Но не сплю с вами не я один. Есть еще Нацуо.

– Нацуо девственник.

От таких откровений Нацуо густо покраснел. Но его это не покорило. Ведь в этих вопросах он был полностью лишен тщеславия.

Кёко встала.

– Поехали куда-нибудь, развлечемся. Может, к Мануэлю? Правда, там нужен пиджак и галстук.

Сэйитиро и Сюнкити ехать отказались. Сэйитиро терпеть не мог шикарные места, а Сюнкити с утра пораньше бегал трусцой. Нацуо был в пиджаке, а Осаму в спортивной рубашке.

– Принеси папин пиджак и галстук. Одолжим Осаму, – велела Кёко дочери.

Несколько поношенных пиджаков, забытых мужем, всегда выручали.

Кёко как раз завершила подготовку к выходу в свет. На ней было вечернее платье, в ушах – крупные серьги, на шее – жемчужное ожерелье. В воздухе витал густой аромат духов. Эта «экипировка» делала ее лет на десять моложе и была хороша для полумрака ночного клуба, а в гостиной, под ярким светом ламп, смотрелась кричаще и отдавала привкусом одиночества.

Кёко никак не могла отделаться от мыслей о женитьбе Сэйитиро. Она понимала, что у нее нет причин ревновать или грустить. Они с Сэйитиро ни разу не проявили друг к другу даже подобия страсти. И причина не в самолюбии или упрямстве, просто это совершенно естественно.

В таком случае сердечная боль не имела никакого отношения к тому, что сегодня наполнило дом, и воспринималась просто как боль от потери друга. Как грусть от потери близкого по духу человека, который, как и она, верил в отсутствие порядка и не верил в мораль. Однако Сэйитиро, охладев к идеям анархии, не предал их. Это был характерный для него парадокс: он верил в крушение мира и именно потому, что не верил в наступление завтрашнего дня, мог спокойно идти нога в ногу с общими нравами и придерживаться обычаев.

«Однако, – размышляла Кёко, – ведь и он человек из плоти и крови». До сих пор она не думала об этом, но ведь так и есть. Презирая в душе возможные обстоятельства, Кёко не могла отрицать то очевидное, что существовало у нее перед глазами. Когда-то Сэйитиро назвал ее женщиной, «которая решительно не может жить в настоящем». Но сейчас перед Кёко предстали два пугающих образа – настоящее время и раскаяние, и она чувствовала, что должна выбрать одно из двух.

«Но я не смогу выбрать, – подумала она, когда взяла себя в руки и приободрилась. – Мое кредо – не выбирать определенного человека, а потому так ли уж необходимо выбрать единственный момент? Выбирать – значит также быть выбранным. Я не могу себе такого позволить».

– Припудри немного под глазами, – вставила Хироко.

Кёко обычно ценила дружеское участие, но давать ей советы по поводу косметики – это уж слишком.

– Хочешь сказать, что у меня круги под глазами? А у тебя их нет? – парировала она.

Масако, угрюмо шаркая, вернулась в комнату. Она надела отцовский пиджак, который доходил ей до колен, повязала на шею галстук. Это вызвало дружный смех.

Масако же, не улыбнувшись, с достоинством подошла к Осаму и, подражая отцу, произнесла:

– Ладно, Осаму, одолжу тебе свой пиджак и галстук, но пользуйся аккуратно.

Тамико громко похвалила цвет пиджака и гармонизировавший с ним по цвету галстук.

Пока Осаму завязывал галстук и надевал пиджак, Масако сидела на ковре и внимательно за ним следила. Ребенок бессилен, не все ему доступно, но один непростительный поступок торжественно, как некая церемония, совершался у нее на глазах, и она за этим наблюдала. Масако была довольна, почти восхищалась собой, делая милые, наивные, без намека на критику глаза.

Глава третья

В осенней выставке Нацуо, как прошедший в прошлом году специальный отбор, мог участвовать без предварительного рассмотрения работ, но материал никак не определялся. С лета он постоянно держал это в уме, но пока не нашел ничего, чтобы сказать: «Вот оно». Душа до краев полна добычи с охоты его богатого восприятия. Много вещей, пораженных стрелой этого восприятия, было в голландских натюрмортах: тушки фазанов и горных голубей, спелые плоды рядом – все громоздилось горой, налезая друг на друга под лучами заходящего солнца. Или, быть может, урожай слишком обилен, поэтому главного не определить?

Как-то в июле Нацуо, пребывая в меланхолии, которая преследовала его все сильнее, взял альбом для зарисовок и сел в машину. Он решил двинуться в Тама, в храм Дзиндайdzi.

Солнце уже клонилось к закату, деревья отбрасывали длинные тени. Когда он выехал на дорогу к старой водяной мельнице, в глаза бросилась вода, отраженным светом мерцавшая в сумраке под деревьями. Вскоре там, где деревья росли особенно густо, на вершине каменной лестницы, показались красные ворота храма Дзиндайdzi, построенного в эпоху Муромати²⁰. Нацуо остановил машину.

На другой стороне прозрачного источника устроили пикник ученики средней школы – они примостились на складных стульчиках и шумели. Здесь было что-то вроде лапшевни, а еще магазинчик с глиняными игрушками, где продавали голубков-свистулек и соломенных лошадок. Нацуо купил свистульку, дунул в нее для пробы. Почти все школьники тут же засвистели в ответ. Казалось, что на тихий спокойный пейзаж с храмовыми воротами пролили кричаще-яркие – красную, синюю, желтую – краски.

Нацуо слегка наклонил голову перед воротами и устремился по дороге в гору. Дорога огибала заросший ряской и лотосами пруд Бэйтэн, поворачивала вправо у старого чайного домика, где торговали поделками из корней дерева, а потом шла вверх. На крутом холме, охраняемом стройными криптомериями, кроме него, никого не было. Поднимаясь в гору, Нацуо свистел в глиняную свистульку. Звук исчезал в глубине зарослей, и Нацуо казалось, что сам он похож на одинокую птицу.

Ближе к вершине склон стал более пологим, редкий лесок красных сосен пронзали косые лучи заходящего солнца. Раздался громкий веселый смех. На склоне между соснами несколько школьников исполняли головокружительные трюки на велосипедах. Их крики были под стать сверканью серебра – так мерцали под лучами клонившегося к западу солнца спицы велосипедных колес. Нацуо хотел открыть альбом, но передумал. Для этого надо было сделать слишком много движений.

Вскоре подростки на велосипедах промчались вниз под гору и скрылись.

Шагая внутри этого ранее не виденного им пейзажа, Нацуо испытывал чувства, похожие на состояние, когда голова после бессонной ночи удивительно ясная и в ней один за другим возникают четкие образы. Но дело не доходит до того, чтобы они, сплетаясь и стгущаясь, сложились в цельную картину. Многие образы бессмысленными обрывками уходят в прошлое, порой в блестяще завершенной картине возникают изгибы, отклонения, она пролетает перед

²⁰ *Муромати* – по японскому летосчислению период 1336–1573 годов, когда ставка верховного военного правителя – сёгуна – находилась в Муромати.

глазами, и полностью ее не охватишь – этим и кончается. Все видения в большинстве своем – лишь цепь промелькнувших мимо обрывков.

Однако в видении, как в свитке, есть начало и конец. Если уподобить движения души, направленные к видению, с приготовлением ко сну, это выглядит так: в голове проясняется, образы забавно перемежаются, все вроде бы противится дреме, но подобно тому, как с некоего момента начинается погружение в сон, в видение тоже погружаешься неожиданно. Художник видит пейзаж глазами, и чем чаще смотрит на него, тем отчетливее видит. Однако эта четкость примерно такая же, что и во сне, который вдруг напал на человека.

Нацуо, двигаясь по сосновому редколесью, знал, что подобное мгновение его еще не посетило.

За леском открылась яркая свежесть огромного луга. Пока он через мрачный лес поднимался в гору, ему и в голову не приходило, что на вершине перед ним раскинется такой ровный, широкий пейзаж. С луга он между мрачным лесом, оставшимся за спиной, и цепью таких же рощ на горизонте видел ровные поля и сады: ничто не заслоняло их, кроме воздушной линии электропередач, наклонно пересекавшей простор вдаль. Свет, довольно слабый в лесу, обильным потоком изливался на равнину. Лучи заходящего солнца падали чуть косо, а трава с полей, наоборот, будто бы изнутри выбрасывала свет. Кроме нескольких человек, работавших на дальнем поле, на глаза не попало ни души.

Место было не так уж удалено от города, и просто не верилось, что летним вечером посреди всего этого – неба, широкой равнины, полей, леса – можно оказаться в полном одиночестве. Панорама, развернувшаяся до линии горизонта, была во всей красе и полностью предоставлена в его распоряжение. Эти вполне обычные летним вечером поля и сады, даже цвет заходящего солнца, пронизывающий верхушки трав, отличались предельной чистотой. Тут прошло оздоровление.

Нацуо почувствовал, что сбросил цепь сложных образов и приблизился к сути видимого. Он выбрал тропинку, уходящую влево от луга, ограниченную с одной стороны полями пшеницы и кукурузы, а с другой – кромкой леса, где недавно был, и зашагал по ней. В лесу слева от тропинки теснились громадные деревья и было темно, как ночью. Справа зелень на полях дышала такой свежестью, что отчетливо проступали контуры травинки, поэтому, чуть задетая вечерним сумраком, она отливала черным. В конце тропинки послышался рев мотоцикла. «И сюда добрались», – подумал Нацуо, но рев, похоже, удалялся. Удалялся, донесшись с какой-нибудь боковой дорожки. Красные задние фары мелькнули в глубине тропинки на поле. Там уже стемнело.

Нацуо взглянул на небо, нависшее над дальним концом его пути. Там солнце уже клонилось к закату. Линию горизонта окутывали черные вечерние облака. Граница между небом и землей растворилась во тьме.

Густые, плотные, словно надрезанные сверху, вечерние облака стелились грядой. В про светах проглядывало прозрачно-голубое небо, и даже у плотных облаков в верхней части осталось окошко прямоугольной формы. За облаками к горизонту опускалось солнце.

В это время Нацуо охватили особые, глубокие чувства. Апогей спокойствия и одновременно – головокружительное счастье. Глазами он при этом неотрывно поглощал пейзаж.

Солнце заходило. Когда оно окрасило в ярко-оранжевый верхние слои стелющихся облаков, из их груды в небо вырвался ослепительный столп света. Солнце садилось, свет чуть поблек. А солнце наливалось алым. Раздерганное облаками небо над ним еще светило оранжевым, но ниже будто облили красным.

Солнце на глазах брызнуло из всех щелей между облаками. Потом в центре плотной темной тучи стало вырисовываться странное, открытое прямоугольное окно. Вокруг него сгустились черные облака, закатное солнце светило только через это окно, и Нацуо увидел поразительное

тельное явление – почти квадратное солнце. Какое-то время оно сияло на небе – квадратное солнце. Равнина потемнела, пшеничные поля под легким ветерком казались черными.

Вскоре квадратное солнце стало сужаться. Нацуо стоял не шелохнувшись, пока не догорели последние тлеющие угли. Альбом для эскизов он так и не открыл. Даже когда солнце полностью упало за горизонт, миниатюрные облачка на высоком небе застыли в его призрачном свете.

Нацуо решил: «Я напишу вот это».

* * *

Бои по круговой системе закончились, прошла неделя. Университет, где учился Сюн-кити, одержал серьезную победу, это делало ему честь как капитану команды. Не зная, как выразить радость по этому поводу, он вместе с младшими членами команды отправился на открывшийся фестиваль монстров, таскал там за руку механические привидения, вызвал на ссору рабочих сцены, участвовал в крупной драке. Разрушив заросли лабиринта, окончательно потерял всякое уважение.

Эти слухи дошли до Сэйитиро. Он заинтересовался тем, как Сюн-кити выражает радость. Завершение, конечно, оказалось глупейшим. Но главное, что выражение радости закончилось разрушением. И что Сюн-кити, желая разрушать, отправился именно на фестиваль страшилищ, вполне оправдывало ожидания. Сюн-кити требовались чудовища, в мире должны были существовать привидения, чтобы он мог их усмирять.

Университет ушел на летние каникулы, но в общежитии в Сугинами две недели после окончания боев еще можно было жить. Снова с раннего утра начинался бег трусцой – эти тренировки прервали на время соревнований. Группа молодых людей в серых тренировочных брюках, выбрав дорогу без покрытия, проводила бои с тенью, прыгала по-заячьи, потом бежала по еще спящим улицам.

Как-то в субботу в начале июля Сэйитиро после трех часов оказался свободен и пришел в общежитие посмотреть тренировки.

Общежитие размещалось в перестроенном здании старого завода. Бывшее рабочее общежитие теперь стало студенческим, а заводская часть – гимнастическим залом. Между жилой частью и залом находились убитого вида совмещенная со столовой кухня, ванная комната с душем и уборная.

Передний двор без единого деревца использовали для разминок. Грубая, выдававшая виды барачного типа постройка лучше всего годилась на роль вместилища темперамента отчаянно молодых людей.

Сэйитиро через калитку в старых воротах вошел во двор, где заходящее летнее солнце заливало светом пустую площадку и мох перед помещением с ванной. Остановился перед входом на кухню, заглянул внутрь. Двое дежурных чистили картошку. Очищенные белые клубни в грубых пальцах выглядели обворожительно.

Увидев Сэйитиро, дежурные склонили бритые наголо головы в вежливом приветствии старшему товарищу. Сэйитиро бросил на разделочный стол пакет с говядиной:

– Тут на всех.

На звук, с которым тяжелый пакет ударился о стол, дежурные обернулись, заулыбались, поблагодарили. Сэйитиро подумал, что бокс не сотрет наивность с их свежих, хранивших налет деревни лиц. Он вышел из кухни и со двора, посмотрел на окна второго этажа, позвал:

– Эй, Сюн, ты где?

– О-о! – вместе с откликом, произнесенным грубым, будто едва стряхнувшим остатки дневного сна голосом, в окне появилась фигура полуобнаженного Сюн-кити. Узнав Сэйитиро,

он сложил руки над головой и издал индейский клич. – Может, зайдешь? До тренировки еще есть время.

Сэйитиро поднялся по жутко скрипящей лестнице и отодвинул дверь в комнату Сюнкити. На циновке в одних трусах похрапывали трое: воинственный клич Сюнкити не пробудил их. Раскинувшиеся, практически обнаженные тела глубоко погрузились в сон и напоминали сверкавшие от пота золотые плоды или что-то подобное.

У Сюнкити от уголка глаза, захватывая бровь, пластырь закрывал рану, полученную во время боя по круговой системе. На его сверкающем, без единой царапины теле от плеча до подмышек отпечатались ячейки циновки, на которой он спал. Следы от них чуть проступали и на круглых щеках.

Тут же валялось несколько годных разве что на макулатуру журналов с рассказами.

– Ты ведь добился того, что мгновение можешь ни о чем не думать.

– Добился. Удачный удар не выйдет, если станешь размышлять.

В характере по-настоящему солнечного Сюнкити не было склонности к ненависти или презрению, презирал он исключительно процесс мышления. Он и не думал, что презирать мышление – это тоже концепция. Мыслить – вот что было врагом.

Действие, эффективный удар составляли суть его мира. Он полагал, что мышление – излишество, нечто вроде крема, густо нанесенного вокруг ядра. Оно – прямая противоположность неприхотливости, простоте, скорости. Если скорости, неприхотливости, простоте, силе присуща красота, то мышление представляет все безобразное. Он не мог вообразить молниеносную, как полет стрелы, мысль. Существует ли озарение, которое наступает быстрее взрыва?

Создание человека мыслящего, которое протекает так же медленно, как растет дерево, для Сюнкити было всего лишь жалким предрассудком. Легко сравнивать бессмертие рукописей с бессмертием деяний. Дело в том, что их ценность сама по себе не рождает бессмертия, ценность впервые возникает тогда, когда бессмертие гарантировано. Но это еще не все. Мыслящие люди не могут и шага ступить без того, чтобы не раздуть значение действий. А те, кто победил в серьезном споре, почему-то упиваются удовлетворением, и в их памяти не всплывают победители, взирающие на окровавленное тело поверженного врага. Двусмысленный характер у того, что зовется мышлением! Чем выше прозрачность, тем чаще оно опускается до негодного бреда случайного свидетеля, а непрозрачная мысль именно благодаря своей непрозрачности способствует действию. С этой точки зрения во время недавних боев блестящий удар, который решил судьбу матча, есть воплощение той самой прозрачности, подобно молнии, блеснувшей в глубокой тьме.

Сэйитиро, каждый раз встречаясь с Сюнкити, ощущал бессилие слов. Это был необыкновенный друг: с ним они и разговаривали по-особенному.

– Сегодня после тренировки свободен?

– Ха-а.

– Пойдем поесть?

– Я ем вместе со своими. Может, присоединишься?

Сэйитиро порадовался, что не сказал Сюнкити о принесенном мясе.

– Ладно. А потом пойдем развлечемся?

Сэйитиро показал мизинец: намекнул, что есть женщина, которая хочет встретиться с Сюнкити.

– И с ней можно прямо сегодня переспать?

– Говорит, что сразу. Ты ведь не любишь проституток.

– Да пасую я перед ними и надоедливymi девками. Проститутки грязные, надоедливые бабы раздражают.

У Сюнкити перед глазами будто замелькали в беспорядке математические формулы. Он представил себе сложный торг чувствами – даже мысль об этом заставляла содрогаться. Тут он смешивал запутанные чувства и процесс мышления. Считал их врагами, а все, что связано с женщинами, – злом.

Сюнкити подмигнул и улыбнулся:

– Есть сейчас хорошая малышка. Потом устрою вам встречу.

– И чем же она хороша?

– Если коротко, то спокойная, фигурка хорошая. Глуповатая, правда. Но все говорят, что красавица, это точно.

– Типа Тамико?

Но лица Тамико Сюнкити уже не помнил.

Пришел тренер Кавамата. Он всегда появлялся во внутреннем дворе ровно без пятнадцати пять – за четверть часа до тренировки. Сэйитиро хорошо знал Кавамату и подошел поздороваться.

Кавамата в ответ коротко бросил:

– Привет.

Он всегда выглядел недовольным, поэтому никто не знал, действительно ли тренер сердится или нет. Двадцать лет назад он выступал на ринге, и по сей день его в этом мире не интересовало ничего, кроме бокса. Многие его ученики стали известными бойцами.

Едва взглянув на лицо Каваматы с буграми в глазных впадинах, сломанным носом, ушами, похожими на кочан цветной капусты, можно было понять, что обладатель его – боксер. Лицо было своего рода памятником. Словно величавый, источенный чешуйницами лик носовой фигуры корабля, оно было сотворено и за долгое время изъедено боксом. По лицу Каваматы человек со стороны вполне мог судить о боксе – как на лице опытного рыбака читается, в каких морях он плавал.

Кавамата был до ужаса молчалив и свойственным боксерам хриплым тихим голосом понемногу, будто соль, высыпал слова изо рта. Только до и после тренировки его будто подменяли: он становился жутко болтливым. Но все слова походили на сердитый окрик, он беспорядочно накидывал гору коротких, оборванных, напоминавших кучу поленьев фраз. Это были даже не слова, скорее комментарии к движениям его проворных рук.

– Разрешите мне посмотреть, – попросил Сэйитиро.

– Ну смотри.

Вокруг них собирались молчаливые полуобнаженные юноши. Каждый без слов почтительно кланялся Кавамате. Обматывая руки белыми бинтами, они постоянно раскачивались, все время были в движении. Играющие мускулы плеч казались спрятанными в лопатках крыльями. По всеобщему воодушевлению стало понятно, что началась разминка. Кто-то, как это часто делает человек, стоящий зимой на промерзшей дороге, быстро переступал с ноги на ногу под лучами заходящего жаркого летнего солнца. Кто-то, закончив бинтовать кулаки, вращал руками. До пояса все были обнажены, но натянули защищавшие ноги лосины, а поверх них – выцветшие боксерские трусы.

Во внутреннем дворе появился Сюнкити. Сообщил тренеру: «Начинаем», поклонился и принялся командовать разминкой.

Сэйитиро прислонился к деревянной панели и смотрел, как юноши готовились к прыжкам. Сюнкити отдавал команды: руки на пояс, развернуть туловище, сильно согнуть колени, потянуть пятку. Молодой резкий голос, выкрикивающий «слушай мою команду», время от времени срывался.

Наконец началась тренировка на ринге. Сюнкити ударил в гонг. С этого момента Сэйитиро остался один, а все молодые люди разом сбежали отсюда в другой мир. Даже Сэйи-

тиро, просто наблюдая, ощущал, как далеко остались избитые фразы. «Ну что можно сказать по поводу этой проблемы...», «Позиция нашей компании в этой связи такова...», «Надо бы, конечно, принять это во внимание...». Эти расхожие выражения словно обуглились и пропали в каком-то недоступном человечеству месте. Перед глазами разворачивалось иное измерение. Он, человек из мира банальностей, был сейчас бесконечно далек от него и сблизился с другим миром – миром действия. Через гроыхавшие старые доски пола движения передавались и ему, казалось, что он стоит на берегу, а в лицо хлещет сильный ветер с дождем.

«Этот мир обязательно погибнет. А до того ежесекундно будет порождать и убивать великие свершения», – думал Сэйтиро. За этой мыслью легко потянулась другая: только действие предопределяет долгую жизнь, только в действии есть нечто постоянное и неизменное. При этом он не стремился к действию, его вполне устраивало наблюдение. Сам Сэйтиро не собирался двигаться. В собственных поступках ему претили вещи, озаренные светом долгой жизни и бессмертия. Он не жаждал выглядеть красавцем, предпочитал обратиться в личность, ненавистную самому себе.

Перед ним тренировалась в прыжках группа «действия». Пятнадцать молодых спортсменов, считая ходившего между ними тренера: казалось, вздымается и опадает огромная волна. Прозвучал гонг. Первый раунд закончился, все остановились. Пол усеяли темные капли пота.

Во время тридцатисекундного перерыва Сюнкити ни разу не посмотрел на Сэйтиро, не улыбнулся ему. Повернувшись к окну, он сосредоточенно восстанавливал дыхание – Сэйтиро это понравилось. Сюнкити и должен быть таким.

Резкий звук гонга возвестил продолжение тренировки. Снова все запрыгали, каждый занимался по своему усмотрению: одни вели бой с тенью, другие прыгали через скакалку, били по закрепленному мячу и груше, колотили по мешкам с песком, подвешенным на толстом резиновом канате, который был натянут между потолком и полом.

Опять перед глазами всколыхнулась огромная волна. Пропитанное запахом пота и кожи пространство, где дощатый пол занимал площадь не больше шестидесяти квадратных метров, залили звуки скользящих по полу подошв, рассекаемого мощными руками воздуха, дыхания, змеей прорывавшегося меж зубов при прямом ударе.

Звуки, однако, постоянно меняли направление, кружили, смещаясь все левее, на них накладывались новые, стекавшие из разных углов. Видно было, как сходятся в бою натренированные ноги: на каждой паре обуви – всегда яркие белые шнурки.

С другой стороны, перебивая визг веревки, хлещущей бичом по полу вокруг тел, прыгавших со скакалкой, раздавались тяжелые, чувственные удары по мешкам с песком, выделялись ритмичные, механические, ласкающие слух удары по мячу.

– Еще минута! – сердито прокричал Кавамата.

Сюнкити оттачивал удары на груше с песком. Тяжелая и неподвижная, она висела перед ним, будто огромная туша в мясной лавке. Это был всего лишь грязный, кое-где в серых дырках, кожаный мешок, но в воспаленных глазах он превратился в сочившийся кровью большой кусок мяса. Он моментально реагировал на атаку: удар, куда Сюнкити вложил силу всего тела, воспринимался как вызов – «на этот раз не покорюсь». Сюнкити явно черпал силу из этого упорно сопротивлявшегося кожаного мешка. Вот, нагнувшись, он нанес удар сверху. Груша чуть отклонилась и, практически не изменив формы, вернулась в исходное положение.

Вот он-то существует! Его бьют, бьют, а он существует. Сюнкити повернулся влево и нанес тяжелый пробный удар. Его перчатки почти впились в кожаный мешок. Сила почти разорвала его, опять передалась рукам, вернувшись к истокам той мощи, от которой он приходил в неистовство. Пот летел во все стороны.

Второй раунд закончился. С третьего раунда начался спарринг по группам. Кавамата, стоя за рингом, бросал короткие замечания, и его негромкий голос преодолевал встречную волну звуков:

- Меньше. Большой, большой.
- Не выпячивай подбородок.
- Вперед, вперед. Расслабься.
- Ноги. Ноги. Ноги!
- Поехал.
- Не сжимайся.
- Не бей пальцами. Расслабься, расслабься, расслабься. Тело. Тело пошло!
- Бей! Бей!
- Правую приподними. Правую.
- Еще на шаг. Еще удар.
- Так, так. Достаточно!
- Осталась минута!

Заходящее солнце заливало весь зал. И Сэйитиро увидел: у одних вокруг головы сияет нимб. У других – пот, падая с подбородка, сверкает прозрачными каплями. На окаймленных вечерним солнцем коротких волосах капельки пота, нашедшие прибежище у самых корней, все до одной испускают свет.

После тренировки и ужина Сэйитиро и Сюнкити вышли из общежития и зашагали по шумным улицам, которые летним вечером затопил неоновый свет. В субботу в рестораничках, где продавали колотый лед, политый сиропом, и мороженое, яблоку негде было упасть от родителей с детьми, одетых в легкие летние кимоно.

- Тот парень, с которым я сегодня работал... Как он тебе?
- Похоже, не очень у него идет.
- Пожалуй, – со знанием дела ответил Сюнкити. – Он, вообще-то, находка. Удар неважный, а реакция хороша. Он точно вырастет.
- И храбрый к тому же.
- Мужчина, потому и храбрый.

Сюнкити выдавал избитые фразы, от которых бежал Сэйитиро. Но, в отличие от Сэйитиро, совсем не боялся их употреблять.

- Хочу ледышку, – сказал Сюнкити.
- Да везде забито, – возразил Сэйитиро.

Сюнкити, знавший, где есть свободные места, привел Сэйитиро в лавку торговца льдом. Важно заказал:

- Клубнику со льдом.

По тому, как полненькая миловидная девушка приняла заказ, Сэйитиро заключил, что слова Сюнкити – «простая, спокойная, красавица с хорошей фигурой» – относились именно к ней.

- Здорово ты чувствуешь время года.
- Я?
- Если настало лето, то девушка из лавки, торгующей мороженым и льдом.

Сюнкити ухмыльнулся. Подставив под отверстие машины, дробящей лед, стеклянную вазочку, девушка встала так, чтобы показать свою аппетитную попку.

«Клубника со льдом» – красивый напиток. Густой, искусственный, красный с примесью синего цвет маджента оседает на дне стеклянной вазочки, а ближе кверху постепенно бледнеет и окрашивает ледяную крошку в персиковый оттенок. Выглядит совсем как яркий шнур для пояса кимоно; что-то есть на дне, и его цвет, поблекнув, пропитал ледяную крошку. Добавьте

сюда летнюю жару. Напиток с избытком чувственности, вплоть до мысли об опасности отравиться. В общем, красивый напиток.

Сюнкити черпал ложкой ледяную крошку, непринужденно пил ледяную воду, взгляд его перебегал со льда на девушку и обратно. Еще до того, как вазочка опустела, он попросил повторить, а потом тихо спросил:

– Сейчас можешь выйти?

– Сейчас никак. Закрываемся в десять. Посмотри пока фильм, убей время. А после десяти там же.

Девушка ответила быстро, словно ожидала такого вопроса. Сюнкити смотрел в сторону, в глазах плескалось разочарование, так что Сэйитиро, когда девушка отошла, счел нужным его утешить:

– Да ладно. Хотя бы в кино составляю тебе компанию.

– Но я хочу прямо сейчас, – надул губы Сюнкити.

Сюнкити собирался, когда уйдет из общежития, по частям осуществлять тот поток желаний, которые внезапно одолевают любого спортсмена. Это был мудрый подход, но мудрости-то ему как раз не хватало, и он поступал по-другому. Бои по кругу закончились победой. Он теперь свободен, может взять то, на что упадет его взгляд.

Сэйитиро тоже знал, что Сюнкити катастрофически не хватает способности ждать, без спешки ждать, пока все созреет. Он, так же как и Сэйитиро, не верил в сиюминутную или будущую выгоду. Как бы там ни было, общность их ощущений заключалась в таком неверии.

Сэйитиро внимательно наблюдал за живыми, ясными молодыми глазами боксера на обтянутом гладкой кожей лице. Что в нем сейчас проснулось, может, страстное желание? Сэйитиро, как мужчине, так не казалось. Или раздражение? Сюнкити не был нервным. Вероятно, в результате отказа от мыслительного процесса он погряз в прочном, ежеминутном ощущении бытия, таком же четком, как клубника со льдом в вазочке на мокром столике. Сейчас Сюнкити существует здесь, как этот ледяной десерт, а перед глазами существует его женщина. Простой расклад таков: боксер должен съесть десерт и сразу же переспать с женщиной. Немедленно! И здесь! На деревянном столе в лавке, где торгуют льдом! В противном случае, возможно, его бытие мгновенно прекратится.

Добропорядочная семья в полном составе, поглощая красную фасоль со льдом, с неприязнью смотрела на Сюнкити. Наклеенный у глаза пластырь пугал девочек.

Семья состояла из бедных по виду супругов, явно служащих, и двух смиренных маленьких дочек. Дочки, чтобы ледяная крошка не просыпалась, ели, одной рукой придерживая горку. Худой глава семьи, собираясь защищать семью от нападения, украдкой посматривал на гэта²¹ Сюнкити, который сидел на стуле, широко расставив ноги. Девочки же следили, чтобы не поранить губы неприятно блестящими тонкими жестяными ложками, которые быстро двигались у них в руках.

Раздвинув шторы над дверью, появился новый клиент. Крупный высокий мужчина, грубая рубашка расстегнута на груди, кирпичного цвета лицо блестит от пота, волосы коротко острижены.

Бесцеремонно громко спросил у девушки:

– Отец дома?

– Его нет.

– Врешь!

Он быстро направился вглубь лавки. Девушка проводила его взглядом и, расталкивая стулья, приблизилась к Сюнкити, шепнула на ухо:

²¹ Гэта – традиционная деревянная японская обувь с ремешками, как у пляжных вьетнамок, и зубцами на подошве. Деревянная доска, на которую ставится ступня, имеет внизу выступы.

– Ростовщик. Как папаша на велогонках проигрался, все улаживают.

В глубине лавки завязалась громкая перебранка, слышались фразы: «Ну нет у меня», «Разнесу твою торговлю!». Сэйитиро и Сюнкити переглянулись. Семейство спешно расплатилось и покинуло лавку, из посетителей остались только они.

Шел отчаянный спор, внутри было тесно, поэтому тучный папаша в шерстяном набрюшнике и кальсонах, намереваясь выпихнуть ростовщика, вышел к витрине, и там пререкания продолжились. Папаша покраснел от злости, смахнул со стола посуду, обругал ни за что дочь.

– Не вернешь – убью! – бросил ростовщик. Он еще раз осмотрелся, содрал в отместку со стены календарь с красотками, разорвал его в клочки и ушел. Папаша тяжело дышал.

– Да, настроение сегодня паршивое, закрываемся. Простите, господа, сегодня мы уже закрыты.

Дочь сразу задернула шторы и занялась уборкой. Взглядом подала знак Сюнкити: «Жду». Он ответил кивком и поднялся. Приятели вышли на улицу, прошли несколько шагов и, толкая друг друга плечами, громко расхохотались. Божья помощь и впрямь существует. Через полчаса, не позже, Сюнкити окажется-таки с девушкой в постели.

Сюнкити все еще смеялся, когда Сэйитиро расстался с ним на станции.

* * *

– А где Нацуо? – спросил вернувшийся со службы отец.

– И сегодня на целый день затворился у себя в мастерской, – ответила мать.

В глазах обоих немолодых уже супругов читалось то ли волнение, то ли растерянность. До сих пор они не считали странным, что у них родился такой ребенок. Из двух старших братьев Нацуо один стал служащим, другой – инженером. Старшая сестра вышла замуж за сына директора банка. И вдруг в буржуазной семье Ямагата неожиданно, без всяких к тому оснований, появился человек искусства.

К тому же Нацуо от рождения не отличался идеальным здоровьем, но и болезненным не был, в частности не страдал от малокровия. Поскольку у родителей в предках не водилось сумасшедших, сифилитиков или инвалидов, то и Нацуо совсем не походил на жалкого художника из какого-нибудь венского поэтического клуба конца девятнадцатого века. В глазах общества он был из «счастливых принцев» со свободным воспитанием, методы которого не могли заинтересовать психоаналитика.

Однако чем-то он все-таки выделялся среди братьев. Родители не могли уловить столь тонких различий, поэтому долгое время наблюдали за ним с чувством, похожим на страх. Нацуо был по-настоящему нежным сыном, да еще последним ребенком, братья и сестра его безгранично любили и воспитывали, не позволяя почувствовать, что он чем-то отличается от них. Так естественным путем родился художник без ясного представления о себе. Среди болезней эта должна настораживать больше всех, потому что больной не ощущает ее симптомов.

Настоящей загадкой было, почему в буржуазной семье Ямагата, в насквозь буржуазном доме вдруг родился художник. Появился человек, равнодушный к материальным предметам; среди людей, живущих исключительно отношениями между человеком и обществом и не сомневающих в своем образе жизни, оказался тот, кому с рождения было предназначено наблюдать, чувствовать, рисовать! Это стало неиссякаемой темой разговоров между родственниками, но в конце концов все сошлось на удачном слове «талант».

Всем понятно, что необходимо делать станки, строить дом или готовить еду. Но зачем создавать то, что уже существует, – яблоко, цветок, лес, вечернее солнце, птиц, маленьких девочек, – это было вне понимания семьи. Более того, рисование не просто бессмысленно повторяло, а настаивало на праве собственного, нового существования, стремилось присвоить

уже существующее. Если Нацуо болен, то позволим ему в утешение заниматься этим. Однако у Нацуо был здоровый организм: ни сумасшествия, ни туберкулеза.

Что до некоторой трудноуловимой мрачности, которую таит художественный талант, – тут нюх обывателя не проведешь. Талант – это судьба, а судьба в большей или меньшей степени – враг буржуазного уклада. Строить жизнь только на основе того, что дано при рождении, – удел женщин и аристократов, а никак не мужчины из добропорядочной семьи.

Всмотреться, прочувствовать, изобразить. Претворить этот живой, трепещущий мир в чистый, созданный красками и формой, неподвижный объект. Это пугало, но Нацуо не боялся. И родители, сначала ужасавшиеся, приняли мнение людей, успокоились при слове «талант». Но все-таки им по-прежнему было страшно. Ведь он смотрел на вещи, и что-то же ему реально виделось!

Боковым зрением Нацуо ловил малозаметные отличия, но с детских лет не замечал какой-либо дисгармонии в окружающем его мире. И не мог представить себе, что в глазах других людей все может отражаться по-иному. В милых манерах Нацуо определенно было что-то будившее в людях потребность его опекать. Когда ему было лет двенадцать, одна женщина, которая увлекалась физиогномикой, сказала:

– Такие черты лица у одного из миллиона. С этим мальчуганом нужно обращаться бережно, как с хрупким стеклом. Не стоит его воспитывать. Какие у него замечательные, чудные глаза. Этот пристальный взгляд защищает его хрупкость. Не будь этого, он бы в детстве, года в четыре-пять, исчез бы, как росинка. Чувствуется, что он из другого, не нашего мира, словно ангел. Мальчик – настоящая драгоценность, поэтому его должны ценить окружающие и сам он должен себя беречь.

Это было великолепное, но одновременно и дурное предсказание. Стекло, роса, ангел, драгоценность – все это можно назвать аллегорией человека. В детстве отец повез Нацуо с братьями на море. Волны бурно вздымались и с жутким грохотом разбивались о берег. Братья радостно кинулись плавать. Нацуо испугался и потом никак не хотел заходить в воду. Наверное, с тех пор он начал предчувствовать опасность, угрожающую его жизни.

В мастерской, где отец установил для него заграничный кондиционер, Нацуо работал: то вставал, то садился. Небольшой набросок был уже готов, поэтому, разделив бумагу на клетки, он углем набрасывал увеличенный вариант на подложенном большом, примерно полтора на два метра, листе офсетной бумаги.

Он долго бился над наброском и выбором цвета, решил, что получилось, и наконец приступил к созданию картины, но ему опять показалось, что наброска недостаточно. Нацуо вернулся к столу и стал просматривать детально сделанный, величиной с лист из университетской тетради, черновик.

Рисунок был уже далек от реализма. Квадратное вечернее солнце, словно странное око, горело по центру темной поверхности.

Увиденный тогда пейзаж, прежде чем вылиться в этот маленький набросок, прошел в его уме через бесчисленное количество подробнейших вариантов. Равновесие в изображении выхваченного куска природы не соблюдалось. Дело в том, что оно было представлено в целом, а такого нигде не увидишь. Ведь, украв у природы равновесие, скопировав его, ты будешь ею же наказан. Обязанность художника – найти в наблюдаемом пейзаже часть, вычлененную из целого, отражение целого, вырезать ее и из оставшейся, казалось бы, ущербной части создать равновесие целого в небольшой новой картине. Именно в этом назначение картины: фотография, каких бы высот она ни достигла, не могла избежать отражения природы в целом.

Сначала странный, вытянутый по горизонтали прямоугольник, солнце вместе с мрачным лесом и полями запечатлелись в его душе, как реалистический пейзаж. Хранились так, как он их увидел, остались в памяти вместе с ревом удаляющихся мотоциклов и стрекотом цикад в

лесу. Однако постепенно эта реалистичность внутри Нацуо стала распадаться: так у памяти, чтобы переродиться в более прочную форму, возникает необходимость однажды все отринуть. Распад был прекрасен. Формы сгладились. Например, обозначенная вечерним солнцем кромка леса потеряла мельчайшие, свойственные природе детали и отчетливость, Нацуо изобразил световые полосы наподобие неявного узора на прибрежном песке. Лес и небо оказались одной и той же субстанцией, взаимно растворились, как две густые жидкости. Рассыпался не только лес. И межи, и поля, и потемневшая зелень пшеничного поля предстали группами, каждая своего размера и цвета, смысл слов «пшеница», «равнина», «поле» постепенно утратился. Самым внушительным было вечернее небо. Облака разной формы, льющийся на них свет, мрак, различные оттенки алого – от густого до слегка заметного – не изменились под последними лучами заходящего солнца, в плане цвета и формы все оказались равны.

Нацуо, лишь на миг схватив взглядом пейзаж с закатным солнцем, сохранил на бумаге то, что должно было со временем пропасть, и обнаружил, что из-за растворения образов отдельные детали все больше теряют признаки времени. Чтобы их восстановить, художник имитирует влияние времени. Эту работу, предполагающую долгое воссоздание различных вещей с помощью постоянных данных, он проделал с невероятной быстротой, мгновенно препарировал все, разложил на элементы цвета и формы и возродил их в элементах пространства.

Таким образом, тот странный пейзаж с заходящим солнцем был полностью отрезан от смысла слов, равно как отрезан от музыки, фантазий, символов, и превратился в скопление пространственных элементов. Тогда-то Нацуо впервые оказался на пороге рождения картины.

Его всегда охватывали глубокое волнение и радость, когда в величественном храме природы, призванной охранять пространство и время, представление о них полностью исчезало. В такой момент мир полностью рушится и остается лишь белый холст, который он должен заполнить изображением.

Спокойный, внимательный к окружающим юноша исчез. Теперь он художник и для создания картины вызывает к небытию. У Нацуо, которому в мастерской предстояло одному проделать тяжелейшую работу, на лице вдруг отразилась душа бойкого непоседливого ребенка.

Вот уж забавная душа! Перед ней, бесстрашно признающей бессмысленность, открывается безграничная свобода созидания, безграничность ощущений и духа. Он смешивает форму и краски, двигается туда-сюда, отступает назад, вбок... И на пути к порядку, сущность которого ему самому неизвестна, долго играет с беспорядком. В этой работе сквозь трудности и разочарование сквозит радость, трезвый расчет мешается с опьянением, тонкий технический подход идет рука об руку с сумбурными чувствами.

Нацуо еще раз посмотрел набросок. Алый цвет квадратного солнца, выбранный после угольного наброска, вполне подходил, но сейчас ему не нравилось, и он не мог этим пренебречь.

Он выдвинул из ящичка с красками ячейку с алой краской и положил ее на циновку. В ячейке двадцать четыре тюбика с названиями оттенков. Отец не жалел денег на его рисование, поэтому Нацуо уже в таком возрасте коллекционировал краски в количестве, сравнимом с тем, каким владеет признанный художник.

Для солнца, появившегося в странном окне между черными вечерними облаками, Нацуо сначала использовал темно-красную киноварь. Но пересмотрел различные оттенки – более светлый, красный цвет солнца на японском флаге, алый цвет корня женьшеня, алый цвет языка мифического феникса, насыщенный алый цвет крови – и, сравнив насыпанные на бумагу порошки, решил, что хотел бы использовать алый цвета языка мифической птицы. Растворил на белой тарелке в желатине немного порошка – проверил оттенок. Тарелка окрасилась злополучным ярко-алым цветом заходящего солнца.

«Теперь закатное солнце выпало в осадок на тарелке», – подумал Нацуо. Потом сравнил эту краску с цветом на наброске и долго сидел неподвижно, погрузившись в размышления. При

выборе цвета художника подстерегала опасность. Цвет был странным ядом: он будил чувства, но мог и парализовать их. И чем дольше Нацуо сравнивал краски, тем чаще каждая казалась то прекрасной, то безобразной. «Какая же из них передаст цвет закатного солнца? Солнце, которое каждый вечер скрывается за горизонтом, ненастоящее. Может, на белой тарелке сверкает дух солнца?»

* * *

В один из дней Сюнкити позвонил Нацуо и спросил, можно ли одолжить машину, чтобы свозить мать на могилу старшего брата. Такие просьбы не были редкостью, и Нацуо не задумывался, в чем заключается его право собственности на машину.

Он знал, что приятель точно не врет. Когда Сюнкити хотел умыкнуть откуда-нибудь девушку, то говорил прямо. Из-за этого порой машина Нацуо без участия владельца совершала предосудительные деяния.

Поэтому для такой честной поездки, как сегодня, Нацуо, долгое время просидевший безвылазно дома, ради развлечения захотел повести машину сам и спросил об этом. Сюнкити сразу же согласился.

Мать Сюнкити работала заведующей столовой в каком-то третьеразрядном универмаге. Она получила редкий отпуск и сказала, что хочет поехать на могилу погибшего на войне старшего сына.

В молодости она была красива, служила горничной в богатой семье, а сейчас обрюзгла, но ее вежливость и хорошие манеры создавали интересный контраст с поведением сына-боксера.

Для поездки она надела скромное кимоно, в руках держала букет цветов и благовонные палочки. Годовщина смерти старшего сына была двадцать четвертого числа следующего месяца. Но сегодня, месяцем раньше, это число попадало на неделю праздника поминовения усопших Обон (что случалось редко), вот она и пристала с просьбой к Сюнкити.

Минут через сорок пять машина прибыла на станцию у кладбища Тамарэйэн, отсюда спустилась немного к реке. Они выехали, когда солнечные лучи немного померкли, поэтому было не так жарко. По пути мать Сюнкити несколько раз благодарила за то, что смогла поехать на кладбище в прохладе и с таким удобством. Сюнкити в такие моменты вел себя как застенчивый сын и был непривычно молчалив. Нацуо наслаждался легкостью, с которой сам вел машину.

Грандиозные, потрясающие воображение храмовые ворота возникли наверху, там, откуда разбегались тропинки. Они возвышались в конце широкой каменной лестницы и были развернуты на восток, поэтому с обратной стороны их обливало клонившееся к западу солнце, массивные колонны отбрасывали сюда тень. Снизу между рядами колонн виднелось только сияющее солнечное небо, а сами ворота смотрелись руинами обители бога и казались еще величественнее, еще внушительнее. Нацуо удивило, что в таком забытом людьми месте есть столь примечательные вещи.

По бокам каменной лестницы высились сосны. Вокруг не было ни души.

Они втроем вышли из машины и медленно поднялись по лестнице. Постепенно открылся пейзаж по другую сторону ворот – без главного здания храма, которое, естественно, должно где-то быть. Солнце слепило глаза и высвечивало в конце ровного плато лес, торжественно раскинувший тень. Обширная территория храма занимала всю вершину холма. Когда они дошли, то показались новые могилы, поглотившие половину площади. Свежие могильные камни все были одинаковой формы. Более того, недавно обтесанные камни ярко сверкали под солнцем, и это слишком приветливое пристанище мертвых производило зловещее впечатление.

Здесь почти не росли деревья, и стрекот цикад, который в это время обычно заполнял все вокруг, звучал в отдалении.

– Наконец и у твоего брата на могиле стоит прекрасный камень, – произнесла мать Сюн-кити.

Нацуо шел за ними между новыми памятниками. Все могилы – погибших на войне, сплошь молодых, двадцатилетних.

Нацуо до сих пор не встречал таких кладбищ. Оно появилось не как следствие болезней и старости, а когда бьющая через край жизнь вдруг столкнулась со смертью, и стало поистине кладбищем весны мира. Уже поэтому оно было памятным местом, где больше, чем на любом обычном кладбище, заправляла смерть.

Мать Сюнкити сразу отыскала среди одинаковых по величине и форме могильных камней памятник сыну. Сбоку на камне было выбито: «17-й год Сёва, август, 24. Погиб на Соломоновых островах в 22 года».

Мать Сюнкити присела на корточки и поставила цветы, воскурила благовония, потом молилась, повесив на толстые пальцы маленькие четки. Нацуо тоже сложил ладони в молитве. Сюнкити с мужественным лицом стоял позади матери и неотрывно смотрел на могилу брата. Его наполняла счастьем мысль о том, что у него есть выдающийся брат, которому, будь он жив, сейчас исполнилось бы тридцать четыре года. И он теперь вместо брата, которого безумно жаль и который парит над отринутым, запятнанным обыденностью миром как идеал вечной молодости и бесконечной борьбы. Брат воплощал идеал действия. Его побуждали необходимые для человека такого склада стимулы: принуждение, приказы, чувство чести. Все это понятие долга, для мужчины в чем-то неотделимое от судьбы. А также действенное самопожертвование, радость боя и, как следствие, мгновенная смерть – у брата все это было. И еще у брата было, как сейчас у Сюнкити, сильное молодое тело. И как после этого самому Сюнкити долго жить, обнимать женщин, получать жалованье?!

Сюнкити, который никогда никому не завидовал, завидовал лишь брату.

«Брат хитрый. Ему не нужно бояться скуки, бояться мыслить: он стремительно обогнал жизнь», – кричало у Сюнкити в душе. На его жизнь уже легли, смешавшись, тени повседневности и сложных чужеродных событий – чего брат не познал. Сюнкити не хватало моральных обязательств и мотива: чем чаще он повергал противника, тем ярче осознавал абстрактный характер своего поведения, его стерильность. Чтобы защититься от чужеродности, он вел себя все осторожнее, нередко, изменившись, его поведение вдруг улетучивалось эфиром, не оставив ни слуху ни духу.

Мать поднялась, посмотрела на зеленые рисовые поля, тянувшиеся до берега реки Тамагавы, порадовалась, что сын спит вечным сном там, откуда открывается такой прекрасный вид. И снова поблагодарила Нацуо, словно это он подсказал, где устроить могилу.

Нацуо вдруг вскрикнул, показывая на рисовое поле. Он что-то увидел.

Сюнкити с матерью посмотрели туда же. Над полем, наполовину погруженным в вечернюю тень, низко летела белая цапля. Ее перья на солнце отливали золотом. Все с благоговением следили за птицей, пока она не исчезла на другом берегу реки.

На обратном пути Нацуо, чтобы насладиться вечерней прохладой, остановил машину на берегу реки Тамагавы, неподалеку от кладбища. Пешком от станции идти было долго, поэтому заросшая белыми цветами люцерны дамба почти пустовала. Сгущались сумерки, но, выйдя на берег, все трое легко различили другую сторону реки. На дамбе даже гуляли две женщины с детскими колясками. С противоположного берега доносились далекие крики птиц, а порой с ветром долетали вопли болельщиков – с бейсбольного поля, сетка которого обозначилась на фоне неба.

Втроем они ходили по тропинке, стелившейся между высоким тростником и мискантом. Мать, которая шла последней, тихо заговорила с Нацуо:

– Неужели нет способа заставить его бросить бокс? Ведь меня он не слушает. Что придумать, чтобы уговорить его бросить такое опасное занятие?

Нацуо, зажатый между Сюнкити и его матерью, не знал, что ответить. Мать за его спиной бесцельно повторяла эту чушь. Ее голос и слова достигли ушей Сюнкити. Но он еще некоторое время шагал молча. Мать повысила голос. Сюнкити резко обернулся и злобно посмотрел на нее. Нацуо остро почувствовал этот взгляд – тот прямо-таки задел его щеку, – и мать испуганно замолчала.

Они перешли по доскам, перекинутым кем-то через мелководье вместо мостика, и добрались до пустынной отмели с зарослями тростника и мисканта. На подступах к реке расстился луг с мягкой травой, в маленькой заводи плавал красный фетровый тапочек.

С реки дул прохладный ветер, они сели на траву и наслаждались этой прохладой. Нацуо и Сюнкити заговорили о Сэйитиро.

– Он сердцем любит бокс, – сказал Сюнкити. – Всем сердцем. Но почему в разговорах у Кёко он вечно все отрицает?

Нацуо не любил мелкие пересуды. Поэтому встал на защиту Сэйитиро:

– Он очень способный служащий. Но его ставит в тупик забавное сочетание слов «способный» и «служащий». Вот ты – «способный боксер». Это сочетание естественно, в нем нет ничего смешного, оно великолепно. Поэтому бокс его и влечет.

Это польстило самолюбию Сюнкити, и он пришел в прекрасное расположение духа. Собрался было сорвать лист тростника, но побоялся поранить острым краем свои бесценные пальцы.

– Он очень хорошо ко мне относится. Балует больше, чем просто старший товарищ. А я люблю его за то, что он любит бокс.

– Плохо! Плохо любить бокс! Прохладно, хороший ветерок. Спасибо вам, сегодня и мы смогли порадоваться прохладе, – снова поблагодарила Нацуо мать.

– Почему он все отрицает? – Сюнкити сделал вид, что не слышал ее слов, и повторил тот же вопрос.

Нацуо мог представить, что Сюнкити часто сталкивается с отрицанием, но он из тех, кто не считает нужным изучать себя. Ему незачем замечать направленное на него недовольство, а главное, не надо задавать себе вопросы, например: «Кто же я?» Все давно решено. Он – «боксер».

Нацуо же интуитивно чувствовал, что свойственный Сэйитиро скепсис не чужд и ему самому.

– Он служащий. – Нацуо пытался, понемногу повторяя сложные выражения, объяснить, что имел в виду. – Из нас четверых он единственный, кто живет среди обывателей. Поэтому он обязан любыми способами сохранять равновесие. Общество обывателей неоднородно, Сугимото заодно с ним, когда в баре поднимает пивную кружку. Чтобы противостоять этому, нужно исповедовать индивидуализм. Хор в баре и индивидуализм создают должный баланс, должный контраст. Но сейчас так не получается. Общество обывателей разрослось, механизировалось, стало однородным, превратилось в огромную фабрику-автомат. Индивидуализм больше не годится для сопротивления. Поэтому он пришел к отчаянному отрицанию. Его похожий на громадный асфальтовый каток, преувеличенный, технический, всеобъемлющий скептицизм, его фантазии о крушении мира, фантазии, тоже подобные черному катку, который одинаково выравнивает людей и вещи, – все это насущная потребность сохранить баланс с обществом и последнее средство ему противостоять. Он один признает подобные идеи, один их представляет, и поэтому Сугимото заслуживает называться «самым способным служащим».

В оправдательной речи Нацуо не было и тени насмешки. Мать Сюнкити, ослабляя кимоно на шее, чтобы туда задувал ветерок, опять заговорила:

– О-ох, хороший ветерок... И все-таки тот, кто любит все отрицать, – неприятный человек.

Интерес Сюнкити к объяснениям Нацуо уже пропал, он поднялся на ноги, подставил обнаженную грудь речному ветру, будто хотел стряхнуть последние слова матери. Речную воду понемногу затягивали сумерки. Лесная тень на другом берегу мерцала огнями. Вокруг зазвенели и запищали пока малочисленные мошки. Сюнкити задумал прыгнуть. Его манило расстояние до другого берега. Он крепко уперся левой ногой, и ботинки наполовину погрузились в мягкий ил у кромки воды.

Повернувшись к невидимому противнику, Сюнкити сделал вид, что нацелился ему в живот, и выдвинул левый кулак в ту сторону. Этот показной удар назывался отвлекающим. Когда соперник принял позу, чтобы защитить живот, он внезапно ударил правой рукой ему в лицо. Поза противника изменилась. Он открылся. И тогда Сюнкити, не теряя времени, левой рукой нанес ему сильнейший удар в живот. То был знаменитый морской двойной удар.

Сюнкити посчитал, что этого недостаточно, чтобы противник рухнул на землю. В кулак он вложил весь вес тела. На речной поверхности почти осязаемо проступила причиненная этим ударом боль, вскоре ее унес ветер.

Сюнкити с гордым видом повернулся к Нацуо:

– Ты знаешь, что это за момент? Прекрасный миг, когда решаешься на хук левой.

Нацуо с трудом разделял радость Сюнкити. Это было так далеко от мира, в котором он жил. Далеко-то далеко, но радость, как пламя, с его красками и формой, он мог распознать. Нацуо запнулся. Он хотел сказать, что и сам знает похожую радость. Когда что-то вдруг застает тебя врасплох, вырастает за спиной и хватает за шиворот. Тогда его в этом мире охватывает самое отчаянное отрицание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.